

# ВРЕМЯ ШМБТ 43 1979

**В НОМЕРЕ:** МАЛЬЧИК ИЗ ДУРДОМА ● ПАЛАТИНСКИЙ МОСТ ●  
СОЦИАЛИЗМ И МИРОВАЯ ИСТОРИЯ ● СВОЯ И ЧУЖАЯ МУДРОСТЬ ●  
МИНИ-ИЗРАИЛЬ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ ● ИНТЕРВЬЮ С НЕИЗВЕСТНЫМ

*Виктор Корчной* Шахматы — моя жизнь



# ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*Пятый год издания*

Выходит один раз в месяц

---

**43**  
**1979** ИЮЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"  
1979

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОША А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЪЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Зав.редакцией Марина МАЗИНА

Американское отделение журнала "Время и мы".

Адрес отделения: 809 West, 177 Str., Apt. 4E N. Y.  
10033 T. (212)7814)5-09

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastricfc. Brigh W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buachfrugellee 98. 1000 Berlin 47, t. 606-7741
Канада	Юрий Лурьи 305 Rooson Hall Winnipeg. Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка - Давид Титиевский, май 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

© "Время и Мы"

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

*Александр Н.*  
Мальчик из дурдома . . . . . 5  
*Александр ТУЧКОВ*  
Три рассказа . . . . . 71  
*Юлия ТРОЛЛЬ*  
Уно, дуэ, трэ . . . . . 96

### ПОЭЗИЯ

*Михаил ГЕНДЕЛЕВ*  
Холмы Иудейские . . . . . 108  
*Владимир НАУМОВ*  
Мартовские стихи . . . . . 116  
*Мот ГРУБИАН*  
Времена года . . . . . 122

### ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

*И. ЕФИМОВ-МОСКОВИТ*  
Кто виноват в социализме. . . . . 126

### ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

*Звулун ХАМЕР*  
Нужна ли чужая мудрость? . . . . . 148  
*Михаил ХАРСГОР*  
Мини-Израиль против Израиля. . . . . 151

### НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

*Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ*  
Храм Вечного Человека . . . . . 160

### ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

*Виктор КОРЧНОЙ*  
Шахматы — моя жизнь . . . . . 169

### ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Эксперименты Йохевед Вайнфельд . . . . . 211

Мы почти ничего не знаем об авторе этой повести, который пожелал остаться неизвестным. Взыскательный читатель, однако, без труда обнаружит, что вещь эта написана не писателем-профессионалом и лишь весьма условно может быть отнесена к жанру прозы. Тема ее — жизнь российских психушек — также не нова. И если мы все-таки решили опубликовать это повествование, то лишь потому, что пребываем в уверенности, что в наши дни, в условиях всеобщего интереса к фактам реальной жизни, часто не формальные литературные критерии, а нечто совсем другое привлекает внимание читателей. Для него, современного читателя, становится все более значимым то, что было, есть и происходит в реальной ж и з н и и чему автор является живым и достоверным свидетелем. Уже по первым страницам предлагаемой вещи безошибочно угадывается такое вот достоверное и взволнованное свидетельство. Обычный здоровый мальчик — не диссидент, никакой не инакомыслящий — совершенно случайно попадает в психбольницу и уже не может оттуда вырваться, и начинается его долгая, жуткая и трагически закончившаяся одиссея. "Взгляд на историю болезни" предлагает автор в качестве подзаголовка и даже не указывает номера психбольницы, где разворачивается действие. И оттого, что речь идет не только о трагическом, но и о чем-то абсолютно типичном для современной России, вещь эта, написанная рукой непрофессионала, не может не вызвать интереса читателей.

Александр Н.

## МАЛЬЧИК ИЗ ДУРДОМА

Психиатрическая больница №...  
Взгляд на историю болезни.

1

Прежде всего расскажу, как я туда попал.

Спешу вас заверить, что я находился, как, впрочем, и сейчас нахожусь, в полном здравии, ясном рассудке и состоянии нормального логического мышления. Правда, была небольшая депрессия с полгода назад, но к тому времени эта депрессия скорее напоминала пулю, но не только что выстреленную, а находившуюся на излете.

Но ближе к делу. Задумал я написать небольшой романчик, вернее, эдак, повесть об определенном периоде моей жизни (уверяю вас, интересном только для меня и абсолютно не интересном для вас, окружающих). Так вот: о жизни, о любви и еще о какой-то потусторонней галиматье. К тому же надо было взять "академку". Хотя в институт я ходил довольно редко, раз по праздникам, а случалось и того реже, хотелось отгородиться от людей, чтобы не отвлекали, и я бы мог

единым залпом претворить идею в дух, дух в осязаемую плоть, а плоть в чернила и бумагу.

Пришел в диспансер, как раз с мамой, она прилетела из-за моего института. Записался к врачу, он сказал, что это элементарная депрессия, нужно кое-что попить, и все пройдет. Да, забыл сказать, какой диспансер был: психо-неврологический. Одно вот не сходилось: я дважды вскрывал себе вены, просто так, ради процесса.

Ох, и проклинал я себя потом из-за этих вен и этих процессов. Но об этом позже. Так вот, такая незначительная деталь, как то, что я вскрывал свои же собственные вены, не совсем подходила моему врачу-психопату. То есть, прошу прощения, психиатру (вечно я путаю). Но он как-то умудрился это втиснуть в свои бумажки, чего-то где-то доправить, то ли прибавить, и все стало нормально, и все стало по-хорошему.

— Саша, — говорил он задушевым голосом и при этом нежно заглядывал мне в глаза. Странная у них, психиатров, манера говорить задушевым голосом и нежно заглядывать вам в глаза. Нежно-нежно, видимо, это у них система такая. Но, к счастью, этот меня еще не считал потенциальным психом. Или ему просто было не до меня и не до счетов со мной. Ну, вот:

— Саша, — говорил он, — вам нужно непременно полечиться, ну, не столь серьезно, не волнуйтесь.

Собственно, я и не думал волноваться. Худшее, что может быть в этих заведениях, — волноваться.

— В больницу вам не надо ложиться, походите к нам, походите амбулаторно, и все будет хорошо. — У этих психиатров вечно, как в сказке, в конце все бывает хорошо. И даже прекрасно. — У нас есть хорошая библиотека, — увещевал он меня, нежно глядя в глаза, — диафильмы.

Вот чокнутый. Зачем мне их психиатрическая библиотека и психические фильмы?

— Дело в том, — застенчиво начал я, — что живу я сейчас в Коньково-Деревлеве, и мне очень далеко к вам ездить (кстати, где это Коньково находится, я и понятия не имел). — Я лучше лягу в больницу (не знал, куда рвался, ненормаль-

ный), полежу там, отдохну. Ведь есть же санаторного типа больница №...?— спросил я.

— Есть. Но там больных с первичным диагнозом практически нет. В этой больнице пациенты, которые уже отлежали в психиатрических заведениях и просто отдыхают и успокаивают нервы. К тому же, туда огромнейшие очереди...

— А где у нас без очереди? — спросил я.

— Что? — не расслышал он.

— Нет, я так, пошутил.

— У нас в диспансере триста человек стоят на очереди. А путевок в год дают раз, два и обчелся. Вот больные по три-четыре года и ждут.

(Хорошая же, думаю, у них организация здравоохранения психически ненормальных).

— Вы не беспокойтесь, пожалуйста, — загробным голосом продолжал я, — мама моя все достанет, что нужно.

Вообще я здорово разыгрывал из себя больного, подавленного и прочего. Ведь не мог же я хохотать и прыгать до потолка, когда у меня стоит диагноз МДП, что значит маниакально-депрессивный психоз. Так же, как не мог получить "академку" по моей болезни, поэтому полезнее было прикидываться угнетенным, подавленным и больным. Я настолько правдиво вошел в это, что даже сам поверил, что угнетен.

Дальше все пошло, как в спринтерском беге: мне дали академический, выбитый мамиными слезами в деканате отпуск. Она достала у главного психиатра города путевку-направление в психиатрическую больницу санаторного типа №... Врач в диспансере заполнил ее, нежно-нежно заглядывая мне в глаза и говоря эту идиотскую присказку, что все будет хорошо, и во вторник, пятнадцатого июля — эх, лето было на улице, а я, безмозглый, куда рвался — приехал к воротам этой больницы.

Врата открылись и впустили меня.

Захожу в приемное отделение, людей — тьма, и вся тьма не похожа на психов. А я-то ожидал! Жаль, конечно, думаю, хотелось бы на настоящих посмотреть. Но ничего не поделаешь, придется обождать, очередь в пятьдесят человек.

Те, кто уже прошел, выходят и говорят, кому назначили на начало августа, кому на середину, то есть, примерно, через месяц-лолтора. "Местов у них нету!" Я ведь не больной, чтобы на все соглашаться. Сегодня или никогда, решил я. Хорошенькое дельце, человек к ним с открытой душой, а они...

Тут мои размышления прервались, и меня вызвали. Захожу в кабинет, сидят трое — он, она и медсестра.

— Ну-с, мы вас слушаем, молодой человек. К сожалению, у нас нет сейчас мест. Ни одного.

Да, думаю. Если бы оттуда позвонили, сразу бы места нашел. Впрочем, разве там бывают ненормальные, пардон! Да, но родственники-то у них иногда бывают того... Разозлился я совсем.

— Больше я к вам не приду, уеду куда-нибудь. Живу неизвестно где, сплю на вокзале.

Заметьте, какое неутомимое стремление к вратам не рая, но психиатрической больницы.

Как ни странно, моя угрозка возымела действие. Потом я пойму, почему, но будет поздно.

— Хорошо, молодой человек, выйдите и подождите, а мы обсудим с коллегами. — Коллеги молча кивнули головами.

— А что, кстати, у вас с венами было, всерьез вскрывали?

— Нет, — ответил я, — так, шутил.

Через полчаса начали меня оформлять. А жаль. Я там с одной девочкой познакомился. Даже удивился, почему она-то вдруг здесь? А она была ничего девочка, только глаза затаенные какие-то, в себе. Потом я уже никому и ничему в этих заведениях не удивлялся.

Привели меня в отделение. Разрешили даже ходить в своем и не дали пижаму. Ненавижу пижамы. В палате десять человек — ужас, я-то, вообще, на одноместную рассчитывал. Медсестра подъехала ко мне, как электричка к станции:

— Больной, сегодня вам выходить нельзя, первый день, завтра, пожалуйста. — Вот я уже и больной!

— А все гуляют, — попробовал я. В ответ ни слова.

Я, конечно, тут же, никого не предупредив, пошел к стома-

тологу пломбу делать. Узнал такое дело — стоматолог, почему бы не зайти. Вернулся через час, и меня сразу же потащили в процедурку. И там они стали пытаться что-то вколоть в мою драгоценную попу. Раньше кто-то, кажется, брат (он у меня все знает), говорил об инсулиновых шоках. Чего уж мне точно не хватало, так только этой радости. Я начал слегка повизгивать (как сучка на вздрючке). Куда там! Они поперли на меня, как танки в Отечественную, будто от этого зависело, возьмем Сталинград или нет. Я повизгивал, а они вдвоем, процедурная и еще какая-то сучка, подбирались к моим задним позициям.

— Я не могу раздеться, я стесняюсь...

— Ну, что вы, молодой человек, мы не будем смотреть. Интересно, как это они будут колоть и не смотреть?

— Мама! — заорал я, когда они меня все же бросили на кушетку, как сопротивляющуюся девку, и что-то вогнали в зад. — Мамочка! — проголосил я еще, на всякий случай, но никто не отозвался. — Спасите, — уже про себя сказал я и остро представил себя в роли Васисуалия Лоханкина. Мы были жертвы человеческой несправедливости, жестокой, вопиющей, нелюдской. И дальше я подумал, как он, что, может, это и есть сермяжная правда. А злодейки уже кончили свое дело и вынимали шприц из меня. А я все думал о человеческом вероломстве и тщетности бытия, голой попой лежа к ним: так надругаться над человеком!..

— Молодой человек, одевайтесь и можете идти лечь в постель.

— А я не лягу. Принципиально не хочу ложиться! — возмутился я. — Мало того, что отнасиловали, да еще и права человеческие попирают. — Я вышел из кабинета и отправился в курилку. Курилка — это комната со средним окном в конце коридора, рядом с ванной и туалетом. Вообще, конструкция и расположение всех дурдомов одинаковые. И вдруг меня страшно потянуло спать, просто невыносимо. Все тело мгновенно стало ватным, таким бессильным и непослушным, что я еле доплелся до кровати и плюхнулся на нее, как убитый.

Проснулся часов через пять, как в одури. Руку поднять

не могу, тяжело; глаза, сомкнувшиеся снова, разомкнуть просто физически невозможно. Мука нечеловеческая. Сквозь хмарь и бред слышу, как кто-то говорит, что я под аминазином, хорошо сражающее снотворное.

Где-то под вечер я все-таки проснулся. Тумбочка моя пуста, как рот новорожденного младенца. А где, говорю, мои вещи? Медсестра отвечает, как врет: на проверке у сестры-хозяйки. Я ничего не понимаю. И тут вдруг заходит в палату громадный санитар, такой громадный, что у меня в непроснувшихся глазах даже темно стало. Ну, думаю, началось.

— Одевайтесь, — говорит он. Спокойно так говорит, будто я его и поджидал только.

— Зачем это? — рот у меня не открывается совсем.

— На консультацию съездите и вернемся.

В восемь вечера с таким громадным санитаром ни на какие идиотские консультации не возьят. Это я понял сразу. Значит, что-то другое. Но под аминазином как-то плохо соображаешь и ничего толком вообразить не можешь.

Правда, он и не стал ждать моих воображений, просто поднял меня с кровати и вдел в мою одежду, как кутенка, без слов. Засунул в портфель мое барахло, взял меня за руку и повел по мерзкому коридору, косясь в мою сторону.

Вот это я ненавижу больше всего: когда без объяснений. Он вывел меня из подъезда, провел среди собравшейся толпы и усадил быстро, опять же без слов, в машину. У меня, если честно, и сил сопротивляться не было. Как ватный весь был. Доигрался, подумалось только в конце.

Рафик, в который он меня усадил, был цвета хаки. На окнах изнутри толстые решетки. Ручки на двери нет. Кабина водителя отгорожена стеклом и железными перекладинами. Из кабины, когда нужно, выходит санитар, в белом халате, сопровождающий, вроде как ответственный за перевозку психов.

И тут, когда меня перевозили, случилось непредвиденное. Мало того, что я со свободы по собственному желанию попал за решетки, железные перегородки, безручные двери —

этого мало. Так еще рядом со мной, на сидении, сидел буйный, самый настоящий псих. Руки у него были вывернуты назад и связаны жутким ремнем. Сам он весь был прикреплен к решетке и, казалось, что намертво. (Но это только казалось.) Разве это могло его остановить?! Вены у него повздувались, пена клочьями повисла на губах, морда вся багрово-красная, мечущаяся, лысая, как колено, голова дополняла портрет. Я, вообще, не из трусливых, в этом вы убедитесь. Но тут у меня засосало под ложечкой: он бросал такие взгляды вокруг, что вырвись он из ремней, — наверняка никто бы и не узнал, как случилось такое, что я вдруг стал покойником. А здоровенный санитар, идиот, и не думал меня защищать, он сидел в глубине машины, подальше от нас, и болтал с бабой, которая сопровождала своего отца. Оказывается, этот багрово-красный был еще и отец. Больше, вроде, в машине никого не было. А что ему — покосился я на него — одного меня мало? Но нет, еще, оказывается, там был один, алкоголик. Он лежал на полу, у меня под ногами, ничего не изрекая вообще. По-моему, он уже был мертвый. Или близок к этому, он попросту не шевелился. Но его никто и не собирался шевелить. А чего там, подумал я, пускай себе умирает. Теперь я вспомнил, что, когда входил в машину, то через что-то переступил, думал, это брезент или инструменты в длинной коробке валяются.

Я сидел вместе с буйным на скамеечке и наблюдал, как он все это время тщательно старается высвободить руки от ремня, дергая глазом, рядом со мной. "Что же это будет", — подумал я. И почему-то дальше не захотел думать. Санитар болтал с бабой, не обращая никакого внимания ни на него, ни на меня. Ну, проклятый, подумал я, посадят же тебя потом и надолго, когда он меня того... Но почему-то от этой мысли, что будет с санитаром потом, мне не становилось легче. Я готовился достойно умереть или, по крайней мере, достойно встретить смерть, однако разумик мой, который, несмотря ни на что, наверное, хотел жить, сопротивлялся, подумывая, как бы его все-таки уложить прежде, чем он

уложит тебя. Почему я думал уже о себе во втором лице, объяснить трудно, наверно, прощался сам с собою.

Кроме "ноги в пах" ничего не приходило. Практически невозможно было уложить его раньше. Он находился в состоянии аффекта, то есть сильного, ненормального перевозбуждения, кое явно было написано на его лысом, круглом, чудесном лице, напоминающем чем-то лицо товарища Шелеста. Весь он трепетал, скрежетал и мучился от несвободы, его колотило, а у меня засосало сильнее. Машина неслась на красный, желтый, зеленый, — на все цвета радуги, и никому не было дела до нашего маленького мирка и моей гибели. Завывающая сирена нудно била в уши, наш экипаж мчался, ни перед чем не останавливаясь, вперед, чему-то навстречу. Я любил такую езду, но сейчас мне было как-то не до нее.

## 2

Когда мы подъехали к приемному покою Первой психиатрической больницы им. Кащенко, соседу удалось-таки высвободить ручонку и начать делать ею разминательные движения в воздухе. "Для чего бы это" — подумалось мне, и в это мгновение здоровенный санитар увидел маневры и, метнувшись вперед, навалился на него всем телом, зашнуровал его опять и отечески похлопал меня по плечу. Я тоже похлопал себя по плечу: живое!

Буйного вытащили первым. Сосать у меня перестало. Аминазин и хмель от него как рукой сняло. Я вздохнул полной грудью и даже обрадовался: как хорошо, когда на скамеечке рядом никто не сидит! Очень хорошо, красота просто. И вообще, как мало человеку надо!

Но самое удивительное, что именно после этой поездки депрессию мою, как рукой сняло. Полгода я был в подавленном состоянии, чего-то там мучился, о чем-то тосковал, ничего меня не интересовало, мечтал о ненужных вещах, о галиматье какой-то, — и вот, за десять минут переезда все прошло. Я исцелился полностью, совершенно и безвозвратно.

Но что я вам должен сказать? После этой перевозки

психов я больше не хотел и видеть. И тем более познавать. Они мне были органически не интересны.

С санитаром мы поехали дальше, сдав буйного кому-то на руки. Кащенко, оказывается, обслуживала не мой район. (Ох, еще с этими районами, мать их тяпкой по голове!) Никогда мне не везет, ни во что хорошее не попаду. Кащенко же — это лучший дурдом Советского Союза! Да еще научно-исследовательский притом. Во главе с самим профессором Снежневским, тем самым, который сначала отрицал Фрейда, но признавал Павлова, потом тайно боялся отрицать Павлова и признавать Фрейда, в результате чего и написал книгу "Фрейд и Снежневский". (Но без Павлова.) А меня везли в другой дурдом. В психиатрическую больницу №... Номер ее не столь важен. Таких номеров в России хоть пруд пруди.

Машина тем временем въехала во двор со множеством дорог, закоулков и переулков — никогда не думал, что бывает их столько, — и через пять минут мы подкатили к приемному покою. С этого момента и начала моя психическая одиссея.

Меня ввел санитар в приемный покой и сдал на руки другому, меня передавали из рук в руки. Сначала первый придерживался за меня, а потом отпускал, но только когда второй держал. Потом второй держал, когда первый отпускал.

Местный санитар посадил меня на кушетку, не снимая с моих плеч рук. Дежурный врач тем временем осматривал какую-то старую алкоголичку. В открытую дверь, которую даже не потрудились закрыть, было видно, как она била себя в дряблую голую грудь и кричала пьяным голосом: "А судьи кто?.." Но ответа ни у кого не добивалась. Я удивился, что она знала классику, читала бессмертные творения русских поэтов. Но там потом оказалось много всяких эрудитов, натолканных цитатами. Их, по-моему, за это сюда и заталкивали, что эрудиты.

Наконец ее кончили осматривать, и один из санитаров повел ее переодевать в ванну. Она тыкала в него пальцами, говорила, что презирает, но его, по-моему, это мало волновало.

Врач позвала меня так тихо, что при моем "ухо-горло-носе" и отличном слухе я едва расслышал и не сразу среагировал. Она назвала меня еще раз и удивилась: "Разве вы не слышите?" Я сел напротив нее и подумал: "Чтоб ты так жила, как я мог услышать". И начался формальный допрос: когда родился, где, фамилия, имя, отчество, родня, вплоть до того, какие у меня сексуальные отношения, с кем и как часто. Я ответил, что еще маленький для этого, во что она поверила и, кажется, так и написала в истории болезни.

— Итак, на что вы жалуетесь? — спросила она.

— Собственно, ни на что. И даже стул нормальный, — попытался состричь я. Вот кретин! Они же все это к симптомам относят...

— Но вы все-таки попали сюда как-то? — продолжала она, криво усмехнувшись на мою остроту.

— Да я как-то хотел не сюда, а туда, откуда меня привезли. Просто захотелось отдохнуть, пописать, чтобы никто не мешал, вот и вся черешня.

— Что это значит "вся черешня"?

— Это значит "вот и все". — Она внимательно посмотрела на меня. О, господи, хоть на русском языке не говори! — И я абсолютно здоров, ни на что не жалуясь и очень прошу вас, отпустите меня домой. — Я и вправду был тогда такой наивный, думал, если попросить, отпустят. — Я на море поеду лучше, к маме...

— Давайте ближе к делу, — прервала она меня. — Вы вены себе вскрывали?

— Нет... то есть — да...

— Так да или нет? — она рывком притянула к себе мою руку и увидела четыре сизоватых бороздки. На другую руку даже не посмотрела.

— Значит, хотели кончить жизнь самоубийством? — в раздумье произнесла она.

— Да что вы, что вы, — залепетал я, — это просто случайность, нечаянно. — Не хватало только, чтобы меня держали как потенциального самоубийцу.

— Вы хотите сказать, что вы, взрослый человек, будучи

в состоянии здравого рассудка, нанесли себе совершенно случайно четыре-пореза по венам? Это вы утверждаете? И я еще не посмотрела вашу другую руку. — Моя рука инстинктивно спряталась в рукав пижамы глубже.

— Нет, но я...

— Ясно, — заключила она и начала писать что-то мелким, убористым почерком в мою историю болезни. Таким мерзким почерком.

— Что вам ясно? — заорал я, не подумав. Это опять шло в минус. Я, кажется, начинал увязать. — Что вам ясно? Я — здоровый человек. И хочу домой. На море хочу. Я с вашими шизиками сидеть не буду. Я там с ума сойду от такого окружения. Выпустите меня на свободу.

— Успокойтесь, — и руки санитаря легли на мои плечи.

Пришлось успокоиться. Что я мог сделать? Он в полтора раза крупней меня, на окнах решетки, двери на отмычках. Что я мог? Я успокоился.

— Извините, — начал наворачивать я упущенное и отыгрывать симптомы обратно. — Просто погорячился, испугался, что здесь остаться придется. Знаете, с кем не бывает. У вас, наверное, тоже так иногда бывает? — Она взглянула на меня так, что я понял: у нее не бывает.

Я уже сознавал, что шансы свои теряю, и они утеряны практически все. Но продолжал бороться за манящую, как нечто уже неземное, божественное, сладкое и прекрасное, — такую дурманящую и зовущую свободу. Я увещевал их долго и нудно. Что я комсомолец, профорг группы, что я хороший человек, имею разряд по волейболу, грамоту от райкома за культмассовую деятельность, выступал по телевизору у себя в городе. Ничего не помогало, и я опять стал выходить из себя. Ну, думаю, старая курва, стервь рябоватая, сейчас как хвачу по башке графином — тебе сразу ясно станет. И рука потянулась к графину. Санитар зачем-то налил мне в стакан водички.

— Так в какое мы вас отделение положим? — закончив писать, спрашивает она.

— Как отделение! — я изображаю ползущие на лоб, расши-

ренные от ужаса глаза. — Какое отделение, вы что, я боюсь этих ваших... — Но это была уже сдача, я не сопротивлялся зная, что ничего уже невозможно изменить. Я лишь сдавался.

— В спокойное, я вас очень прошу, в спокойное. Что-нибудь тихое, моя мама...

— При чем здесь ваша мама, — перебила она меня. Бедная моя мамочка! (Вот сука старая! Девственница, небось, обухая.) — В каждом отделении есть две половины: буйная и спокойная. Вас сначала поместят в буйную. (Сволочи, даже к матери нет святых чувств!)

— А? Что? — Я даже не сразу осознал, что это не кого-нибудь, а меня кладут в буйное отделение, к настоящим психам. Веселенькое дельце. Я опять заговорил о грамотах, о волейболе, комсомоле, под конец даже сказал, что в седьмом классе ездил в Артек.

А они все решали, в какое отделение меня положить. Санитар за мои американские сигареты посоветовал пятое, оно спокойное, относительно. Всего в больнице у них было тридцать три и все с психами. Что добивался, то и получил. Было у меня когда-то давно, в старинные года, желание попасть в сумасшедший дом, посмотреть, как там психи живут, какие они из себя, что делают. Но со стороны, — посмотрел и хватит. Было у меня такое желание, ох и горько же я раскаивался в эту первую, самую что ни на есть психическую ночь...

## 3

Одетый в байковую пижаму (в душный день!), я был введен меж двух санитаров по двору из приемного отделения в свое, теперь уже родное, пятое. Как раз в это время к "приемке" подъехала машина на всю жизнь теперь мне знакомого цвета хаки. Из нее выскочил длинный, изящный мужик в батистовом мерцающем белье и, приплясывая на высоких разных ногах, вдруг заорал: "В пампасы, падлы!" Да так, что у меня в ушах заболело. Наружностью он чем-то напоминал Д'Артаньяна, но орал он, как Портос, и во всю мочь: "В пам-

пасы, падлы, я кому говорю, в пампасы!" Пока его не уволокли туда, откуда только что выволокли меня.

Потом он запел что-то из Беранже. А на прощанье, перед захлопывающейся дверью, успел заорать: "Я — Котовский!" и еще что-то. На этом видение исчезло. Да, не соскучишься, подумал я. Итак, Котовского я уже видел. А интересно: Клим Ворошилов у них есть?

Я вошел в палату. Психи мирно спали. Или не спали, кто их знает. Над входной дверью горел ночник ровным, почти лунным светом. Деталей не было видно. Двери настежь открыты, и возле них сидят санитары. Это наблюдательные палаты, куда помещают только что поступивших, отбирая у них все и ничего не позволяя до распоряжения врача. Их две, этих палат, во всех буйных половинах психиатрических отделений. Я разместился во второй наблюдательной палате, так как в первой были такие, которые там лежали всю жизнь, то есть хронические идиоты. Я был рад, что хоть не в первую, но между ними был проход...

Я лег на койку, показанную у окна. В палате их стояло много, но какие-то, кажется, пустовали. Два санитары сидели у дверей и бдели недремлющим оком, которое часто оказывалось дремлющим, а мне ведь еще предстояло здесь спать: кто же меня будет охранять, психи ведь, жуть, кругом ненормальные!

Полулежа, полупровисая от страха на кровати, я пытался забыть тревожным, неровным сном. Рядом на койке кто-то лежал, вроде, человек. Он бубнил себе под нос на мотив песни: "Я люблю тебя, Россия..." такие слова: "Я убью тебя, я убью тебя, я убью тебя сперва". Я уткнулся в подушку и, боясь повернуться, застыл. А лебединая песнь летела и рвалась с соседней койки. Не знаю, как уж, но я все-таки погрузился в кошмарный сон, обливаясь холодным потом.

Поутру меня никто не будил. Я сам проснулся от крика. Через две койки от меня санитары вязали простынями какого-то буйного к его кровати. Потратив массу усилий, они, наконец, связали ему руки, затем ноги, а после и его всего, приковав к кровати. Я приподнялся и взглянул в сторону

связанного. Плунуть в него, что ли, связанный все равно, а мне, может, легче станет. Он повернулся головой ко мне, и желание плюнуть у меня моментально исчезло. Лысый весь почти, морда в прыщах и золото во рту. И глаза чего-то жаждут, как ищут. Плевать в него мне расхотелось, и я даже удивился: откуда у меня могло только взяться такое желание. Явно ненормальное.

— Слушай, друг, — начал буйный.

— Ты это мне? — прервал я его, сразу решив, что лучшая защита — это нападение.

— Тебе, конечно, а кому ж еще.

— Я дам тебе друга! Чего к больным людям пристаешь! — прошипел я.

Он как-то подобалдел и скромно сказал:

— Слушай, друг, ты чего, дай закурить, а?

— Ах, тебе закурить, — с облегчением вздохнул я, — так бы сразу и говорил.

— Да я что, — заныл вдруг буйный, — ты даже слова не дал сказать.

Пачка американских сигарет была начатая. Я полез в карман и вытащил наощупь одну, чтобы другие не видели. Подошел к санитару, тот дал прикурить и отдал буйному сигарету.

— Ух ты, американские, — запричитал он, — я такие никогда и не видел.

— Тебя как зовут, друг?

— Саша, — ответил я.

— А меня Игорь. Ну, вот, друзьями будем.

Да, только таких друзей мне и не хватало!

— Я из Баку, — заскулил он, — и мне сигарет никто не приносит. И никто не дает, ты первый... Тебя как зовут, друг?

— Саша, — ответил я.

— Сбей пепел, а то на губы падает.

— Чего? — не понял я.

— Пепел, говорю, на губы падает.

Я понял. Руки у него были связаны, и весь он был связан-

ный, и не мог двинуться. Я сбил пепел за батарею под окном и опять вставил сигарету ему в рот.

— Слушай, друг, дай мне еще одну и положи ее под подушку, чтоб не стащили. На запаску.

Санитар, слышавший эти слова, подошел и рявкнул:

— Не давай ты ему ничего, надоел уже всем.

И ему:

— Заткнись, скотина, опять попрошайничаешь.

— Да я что, Вова, я ничего, — заканючил буйный Игорь. Но тот ушел, сел на свое место и не обращал больше на него внимания.

Пришла медсестра, вколола без слов ему сбоку в зад укол аминазина и ушла. Я подсел к санитару. Обросший космами до плеч, он оказался всего только о двадцати годах. Моде следует, так сказать. Глаза только чересчур маслянистые и окаянные какие-то.

— Подрабатываю здесь, — сказал он мне, — надоело все страшно. С ума сойти с этими идиотами можно. Сам я работаю на заводе стройматериалов, а выпить, сам знаешь, тоже надо. Хочу поступить в Литературный имени Горького.

— Вы на творческий подавали? — спрашиваю я его солидно и на "вы".

— Подавал, но ответа пока нет.

— У меня там знакомая учится. Очень трудно туда попасть, стаж нужен, печатные работы.

— Стаж есть, а печатаюсь я в нашей тиражке "Строитель", стихи, лирика. А вообще-то здесь неплохо, — продолжал он, ему тоже скучно было сидеть. — У сестер можно кофеинчик с циклодолом брать, сколько хочешь. Бабы свои, разрешают. Однажды принял пять таблеток, да с бутылочкой портвейна, и еще чувиха под боком. Кайф словил обалденный. Хорошо так: кофеинчик с портвейнчиком, чува под боком, класс жизнь!

— Да, — говорю вслух, — хорошо.

— Что,— спрашивает он, — хорошо?

— Да все, — говорю, — как-то хорошо.

— А-а, — кивает он головой.

Я сижу рядом с ним около палаты на скамеечке, отходить куда не разрешается. Туда-сюда по коридорному линолеуму снуют психи. Просыпается с рассветом вся советская страна. Морды — разные: страшные, прекрасные, старые и молодые, но с виду почти все лица нормальные. Меня никто не трогает, я, соответственно, тоже. И тут ко мне подваливают сразу двое. Вот, думаю, сейчас как раз и начинается. Один тощий такой, высокий, другой пухленький и поменьше.

— Меня зовут Сережа, — говорит пухлый. — А его, — и он показывает на тощего, — Саша.

— Очень приятно, — отвечаю я, — тезки, значит.

Ну, с этими-то я справлюсь. Давайте, начинайте!

— Ты как сюда попал? — спрашивает Сережа.

— Как все, — говорю. И молчу.

Тощий, мой тезка, Саша, начинает прищелкивать костяшками пальцев и говорит:

— Советские мы йоги, опа, Америка — Европа!

— Да, конечно, — подтверждаю я. Ебанутый, думаю.

— Системой йогов занимаюсь, — говорит он. — Мне это нужно.

— Непременно нужно, — соглашаюсь я.

— Просто, чтобы форму восстановить, сильным быть, — говорит он.

— Да, — важно изрекаю я, — в здоровом теле — здоровый дух.

Тощий Саша садится на пол, складывается по-турецки и начинает усиленно сопеть, кажется, это называется — дыхание. Потом он пытается из своего тела сделать мостик, а пухлый Сережа садится на тощего Сашу. Но худой живот тощего Саши не выдерживает пухлого Сережи, и Саша рухает на пол, грохнувшись с шумом и треском. Видно, у них это был отрепетированный номер.

— Мы и тебя научим, — говорит лежащий на полу на Саше Сережа. Саша куда-то исчезает, а Сережа мне начинает объяснять. — Ничего, ты, главное, не волнуйся, все будет хорошо. Ты думаешь, мы здесь просто так? — таинственно снижает он голос, — мы здесь работу выполняем, секретную.

— Да что ты? — искренне удивляюсь я.

— И ты тоже будешь работать. Только это в секрете, за нами следят.

— Кто? — спрашиваю я его.

— Враги, — отвечает он и оглядывается по сторонам. — Я тебе не могу показать точно. Так что будь осторожен и, главное, не волнуйся.

Мне уже осточертела эта притча о волнениях, но я соглашусь с ним, что волноваться не буду.

— Вот и хорошо, — додалбливает меня он, — волноваться не надо. Освоишься, с ребятами познакомишься.

— Что за ребята?

— Они все здесь работают, только скрывают, осторожным надо быть. И ты будешь работать, только не волнуйся. Нам здесь зарплату платят и большую. Мне, например, шесть тысяч в месяц, только никому, это секрет. Ну, иногда и пять платят, это от работы зависит.

Когда речь заходит о деньгах, я почему-то сразу становлюсь доверчивым.

— А сколько мне будут платить? — решаю сразу выяснить я.

— Сначала тысячи полторы-две, потом побольше.

— Да что ты? — я ему начинаю верить и искренне, — пойдем, — говорю я ему, — покурим. У меня сигареты есть хорошие. — Идем в курилку, я достаю сигареты, мы закуриваем.

— Американские, давно не курил, — констатирует Сережа. Тут же еще несколько психов просить начинают. Говорю, что мало, не дам. Я смелый, у меня теперь здесь защита, Сережа.

— Правильно, — говорит Сережа, — не давай. Они вечно побираются, никогда докурить не дают.

Мы сидим с ним в курилке. Две скамейки вдоль стен по бокам. Посередине — мусорное ведро. В нем вода, туда бросают окурки. Кто-то вечно курит, так как спички им... то есть — нам, не дают категорически, и все время надо поддерживать огонь. Палеозойская эра!

Какой-то мужик подходит к Сереже и без слов, нахально, протягивает три сложенных щепоткой пальца к его сигарете.

И Сережа покорно и также без слов отдает ее в щепотку. Тот поворачивается и молча уходит, бормоча что-то невнятное под нос.

— Почему ты отдал? — спрашиваю я его.

— Нельзя не отдать. Это Рома. Он здесь самый главный, ему все отдают. И против него ничего не надо делать, он — бывший боксер.

Рома — такой упитанный терпкий мужик, лет под сорок. Стрижен бобриком и правда напоминает боксера в отставке по годам. В психбольницах сидит семнадцать лет безвылазно. В этой больнице — со дня ее открытия и все время в наблюдательной палате, первой. Врачи его уже не смотрят, только колют уколы да дают таблетки. Подавляющие. Знает его вся больница и все отделения, но сам он никого узнать не может. Таких, как правило, сдают в Столбы. Это прелестное место находится, кажется, по Курской дороге, и содержатся там хронические психи без просветлений, даже минутных. Их там по тридцать-сорок лет держат, пока жизнь не кончится. Закалывают уколами медленно, но верно. А там — кто сколько продержится.

Рому туда не сдавали из-за родителей, их жалели. Здесь они его хоть видели, а там — пиши пропало. Да и привыкли к нему все, как к штриху отделения. В молодости Рома и вправду был боксером, лет до двадцати трех. Потом его дважды стукнули в одно и то же место, которое у него и до этого было травмировано. С тех пор у него чего-то там сдвинулось, в голове, повернулось, то ли переместилось и получился типичный шизофреник. Почему его боятся? Сережа, оглядываясь, рассказал, как один раз он взбунтовался и ни с того, ни с сего двинул санитарку в скулу. Что-то она ему не так сказала. Ее, бедную, сразу же отвезли в травматологию к Склифосовскому. Больше она на работе не появлялась.

И был еще один случай, более страшный. Кто-то своровал из холодильника чью-то передачу, а кто-то другой сказал, что это Рома. Роман, как его часто зовут в отделении, хотел мирно переговорить с клеветником, тогда он еще чего-то соображал. Ему не дали санитары и, затащив в палату, заперли. Это

был последний случай, когда запирали двери в палатах. Рома, которому не понравилось это, высадил дверь с одного удара, сняв ее с четырех петель одновременно.

## 4

...Я стою возле кранов и думаю: умыться сейчас или после, или вообще не умыться, побуду психом хоть один день: пасты все равно нету. Подходит быстро Рома и неожиданно резко протягивает мне руку. Я отвечаю на его рукопожатие. И жду. Он поворачивается и уходит.

Подходит еще один и представляется Илюшей. И тотчас рассказывает, что он певец, человек искусства. Поет в оперетте и выступает с сольными концертами. Внешне нормальный, даже приятный человек. Очень смуглый и волосы совсем черные. Какая-то половина в нем — грузинская.

— Слушай, дорогой, — гремит он, — так ты был в Гагре? В Сочи? Вай, у меня же там родители живут. Я же там родился. Сам я здесь сейчас живу, кооператив у меня на ВДНХ и бабка в центре. Пою вот, классическое в основном.

Я попросил его спеть тут же, в курилке, куда мы зашли. Люблю эксплуатировать людей. К тому же, здесь всегда кто-то поет, все давно привыкли. Илюша запел: "Да, я шут, я циркач, так что же".

Я с уважением смотрел на его грудь. Он пел, и стекла вибрировали от его голоса. Мне даже понравилось. Я попросил что-нибудь Вертинского, люблю эмигрантов. Он спел Вертинского, и я был в восторге. И как это вообще звучало; сидишь в психиатричке, а тебе поют... "Там плывут чужие города. Нам они чужие навсегда..."

Начался обед. Из-за разъяснений Сережи о зарплате я не завтракал и с процедурой приема пищи столкнулся впервые. Кушали в две смены. Первая... ее быстро разгоняли, чтобы могла есть вторая. Другую тоже быстро разгоняли, чтобы психи-добровольцы могли мыть полы в столовой и коридоре. Санитаркам было хорошо. Вечно какой-нибудь шизик

мыл полы и все делал за них, а они, когда охота была, руководили, а охота была у них редко.

Я не понимаю, что за удовольствие, и про себя называю их крестинами. И только потом, позже, пойму, что это — удовольствие, и не просто удовольствие, — жизнь, способность выжить.

Я сел во вторую смену с Сережей и Сашей за одним столом. Кормили, конечно, на букву "х". (Надеюсь, поймете правильно и не подумаете, что хорошо.) Хлеб был, как кирпич. Что должно быть горячим, то, мягко выражаясь, было холодным, и наоборот! Суп был холодный, а компот горячий.

Аборигены ели свое, но "свое" было чаще в качестве закуски, как правило, сладкой. Им все время не хватало сладкого. Потом я понял, почему — от укулов и таблеток.

За нашим столом оставалось одно пустое место. А так как первую смену сразу же разгоняли, не давая насытиться, то некоторые садились за "свое" еще и во вторую.

Этот, о ком расскажу сейчас, сидел почему-то к нам. В своей жизни я встречался с тем, что люди много ели, но чтобы так жрали, видел в первый раз. Звали его "пузо". Оно у него было выдвинуто вперед, минимум на полметра, ей-Богу. Сначала он съедал все, что давали в первую смену, потом, если были добавки, съедал и их. После всего того, что сжирал казенного, брался за домашнее, частное. Доставал по два-три больших полиэтиленовых куля, набитых всевозможной снедью. Один куль ставил на колени, вероятно, боялся, что кто-нибудь стащит, другой клал под руку. Затем доставал большую масленку, где громадным куском лежало замерзшее масло, и пару бутылок фруктового сока.

Пузо его напоминало невероятных размеров шар, губы вечно жирные, впрочем, как и руки, голова плешивая, по вискам остатки растительности, а подбородков штук пятнадцать, затерялись один в другом при переходе лицевой оболочки к шейным ключицам. Перемалывал он все, как мясорубка: фрукты, потом селедку, холодный чай, потом мясо, опять фрукты, снова селедку, без всякой очередности.

Затем съедал все, что давали второй смене: каши, супы, борщи, гуляш. Жуть! Он боялся повернуть или оторвать голову от стола, чтобы, не дай Бог, кто-то не попросил у него вишенку. Вечно он сидел обложенный выплюнутыми косточками, корками голландского сыра, какими-то объедками, непонятной шелухой, фруктовыми кожицами.

Больше всех он ненавидел Рому, так как тот все время ходил и попрошайничал. И не потому, что был голоден, а просто видел, что это делают другие, — он и подражал им, прося чего-нибудь домашнего. Подойдет к "пузу" и протягивает сложенные лодочкой пальцы. И тот, скрепя сердце, выбрав какую-нибудь самую паршивую вишенку, примятую или прибитую, неохотно протягивал ее Роме.

Бедная жена этого "пуза" приезжала каждый день с двумя полными сумками. Как я успел заметить, она была довольно миловидная женщина с очень зовущей изящной фигурой. Что она нашла в этой чревоугодной мясорубке, я не мог понять. Вернее, понял, что этот брак был на сто процентов по расчету. Но все равно, с такой гориллой! И она ему даже улыбалась... По-моему, в определенном месте он бы просто раздавил ее. Впрочем, это личное дело женщины, как и с кем ей устраивать свою личную жизнь, чтоб ее сминали или чтобы сминала она.

Кушали мы из полиэтиленовых мисок и первое, и второе, разве что третье туда не наливали. И миски пахли. И хлоркой замызганных тряпок, которыми их мыли, и просто стареющим мерзким полиэтиленом. Третье не наливали туда, потому что оно было в полиэтиленовых кружках, еще более мерзких, чем полиэтиленовые миски, А так, мы все делали в этих мисках, все дела. Давалась одна большая ложка, к счастью, уже алюминиевая. И этим допотопным рычагом надо было есть все блюда, умудряясь еще при этом и размазывать масло на хлебе. Сахар почему-то давали утром, семь кусков, — это на целый день. (Все компоты, какавы и чай готовились без сахара). Семь утренних кусков делились на весь день. Сахар был такой же дефицит, как и сигареты.

Особенно мучились инсулинщики. Есть обед я не мог из-за этого проклятого "пуза", пришлось встать и уйти. Но в следующий раз я решил, что уйдет он.

## 5

Потянулись дни, когда меня вообще никто не трогал и ни о чем не спрашивал, будто я был тут посторонний.

После обеда я возвращался в палату и ложился спать. Страхи всяческие исчезли. Я понял: чтобы не бояться шизиков, надо, чтобы они боялись меня. Единственно, кого я не мог дожидаться, это проклятого, не появляющегося врача, чтобы объяснить ему, что я здоров, что это ошибка и чтобы он выпустил меня.

В эту ночь, как ни странно, я выспался хорошо: никто не мешал, не орал, не буйнил. Я встал, пошел умылся, пожал руку Роме и, закурив, уселся в курилке. Напротив меня сидели два мужика. Мужики эти были из разряда алкоголиков, то есть попали сюда с белой горячкой. Разговорились мы, не знаю почему, но разговор зашел о лошадях. Один из них, белобрысый хохол, жил все время в деревне, и вот какую историю он рассказал:

— Август у нас стоял, пшеницу убирали. Я как раз на этой гнедой возил на ток. Проезжаем лесок. Она вдруг стала, как вкопанная, и ни туда, ни сюда не хочет идти. Крутит мордой да ржет что-то. И хвостом, и хвостом. Ну, думаю, женские дела начались. Надо делать чего-то, уборка идет. Я ее и так, и эдак, и кнутом, и по спине, — не слушается, стоит, не сдвинется. Что делать! Влез я на оглоблю, расстегнул штаны, а она как поняла: задрала хвост повыше, чуть-чуть присела и выгнулась. Как раз мне впору стало. Обхватил я ее зад руками, раздвинул все, что полагается, ну, и всадил туда покрепче да поглубже. Так и слились мы с ней воедино, она — кобыла, я — мужик. А что делать, пшеницу надо было возить.

Я встал, быстро заскочил в туалет, и меня вырвало. Я постоял так склоненным минут пять и, кажется, начало проходить. Во рту только стоял жутко неприятный осадок тошно-

ты. Кто-то вошел, я на секунду глянул. Это был немой, который лежал со мной в палате. Он всегда побирался сигаретами, вечно гладил голый живот, не нося пижамную куртку, и ухмылялся. Он встал в углу у окна и начал что-то делать. Я не видел, голова моя была воткнута в унитаз. Я еще не до конца, как мне казалось, отреагировал на рассказ мужика. Несколькими минутами позже я поднял голову и сначала ничего не разобрал. Солнце ослепляя рвалось в окно брызгами ярких лучей. И только приглядевшись, я понял все — немой занимался онанизмом. Он торопливо онанировал с блажененькой улыбкой, глядя в мою сторону. Меня опять стошнило. На сей раз желчью.

Когда-то в колхозе, на первом курсе института, мы убирали виноград. В туалете вечно было полно онанистов, но те были из глухих сел, и мы пинками выгоняли их из туалета. Находились парни и поздоровее нас, но они всегда молча уходили. Какой-то внутренний стыд сковывал их. А этот стоял передо мной и увлеченно занимался своим "делом", даже не отворачиваясь. Я оцепенел. Подумалось: может, это и есть природа человека. Природа, создавшая его, и он, в обратном процессе, создающий свою природу. Воздающий природе свое. Я стоял, не в силах пошевелиться. До того было внутри муторно. Зашел вдруг Илья. Он огляделся по сторонам и увидел немого. И дал ему такого пинка, что тот вылетел в дверь из туалета, как пробка от шампанского.

— А я тебя искал, Саша. Пойдем, спою!

Мы сели с Ильей в курилке прямо на пол и закурили. Он запел. И голос рождался какой-то жалостный, надтреснутый, из нутра: "Да, я шут, я циркач, так что же? Пусть меня..." Илья закончил петь и смачно затыкнулся. Я сидел, задумавшись. Он снова запел и, по-моему, совсем забыл про меня.

На следующий день меня, наконец, вызвали к врачу.

— Заходите, садитесь, — дверь захлопнулась за мной, и я остался с ней с глаз на глаз.

Она была довольно приятной женщиной среднего роста,

выглядевшей моложе своих лет. Ровный загар покрывал ее лицо и красивое гладкое тело, видневшееся из-под халата. Когда она вставала, обрисовывалась под тем же халатом стройная фигура, по стилю и композиции напоминавшая манекенщицу с длинными ногами.

Первым делом я уставился на ее грудь, вместо того, чтобы отвечать на ее вопросы. На ее лице абсолютно ничего не отразилось. Да, на этом, кажется, не сыграешь. Перед ней всего лишь пациент, к тому же новый и необследованный.

— Вы меня, кажется, не расслышали? Я спрашиваю вас, на что вы жалуетесь? — повторила она.

— Собственно, я ни на что.

Я уже не говорил, что я здоров. Это — без толку. Кроме того, это первый симптом для них, что ты болен, если ты говоришь, что здоров.

— Как ни на что? Вы попали в психиатрическую больницу и ни на что не жалуетесь?

— По-моему, вам должно быть известно, что в такие заведения попадают не только больные... — Она быстро вскинула брови. Я начал нести что-то не то. — То есть, простите, я не совсем точно выразился. Просто я не хочу здесь находиться. И прошу вас, чтобы вы отнеслись ко мне не как к психически больному...

— Хорошо, хорошо, — перебила она меня. — А пока расскажите мне... — она посмотрела в историю болезни, — Саша, что с вами произошло.

Оставалось, не залезая в дебри, рассказать ей что-нибудь такое легенькое и непринужденное. Так как, если ничего не рассказать, то все равно какой-нибудь синдром присобачит, замкнутость или еще чего-нибудь. А я этих синдромов, как огня, боюсь.

— Дело в том, что существовала одна милая, весьма премилая, может, только на первый взгляд, но нужная мне женщина. Мы встречались с ней определенное время, потом все это кончилось.

Она внимательно смотрит на меня, но, кажется, пока не догадывается.

— Скажите, Саша, значит состояние подавленности, как здесь написано, у вас наступило после расставания с этой женщиной?

— И да, и нет. До нее тоже было отвращение ко всему, нежелание ничего. Все опротивело и надоело, компании, друзья, учеба в перерывах от гуляний.

Здесь я говорил правду.

— Но вы вскрыли себе вены именно после ухода этой женщины.

— Она никуда не уходила. Я ушел, И вы говорите как-то слишком серьезно — вены, вскрывания. Разве можно назвать вскрыванием вен легкий порез скальпелем на руке? Это же несерьезно.

Она настораживается.

— Но вы ведь и второй раз вскрывали их себе?

— Ну, не получилось первый раз, было интересно, почему. Второй раз из чистого интереса, азарта, что ли?

Как нехорошо говорю, фальшиво очень. Она это чувствует. А что делать, ведь не расплачешься на ее груди (интересно, какого она размера, я люблю покрупнее).

— Скажите, Саша, а почему вот у меня не бывает чисто спортивного интереса и уж, тем более, азарта вскрывать свои вены. Да и вообще, у меня нет никакого желания доставлять себе боль. Это считается аномальным. Очевидно, в вас все-таки жило желание осуществить намерение до конца?

— Да что вы! Вы меня неправильно понимаете. Я все это делал для рекламы. Позерство, что ли. Но, уверяю вас, ничего до конца я не хотел. Может, хотелось, чтобы она пожалела. Но не больше, честное слово.

Она даже не смотрит на меня. На лице ее написано, что я мог бы врать и получше.

— Итак, Саша, вы все-таки не хотите мне рассказать, что с вами случилось и как, да?

— Я же вам все рассказал. Хотел написать ручкой на бумаге об этом периоде моей жизни. Чтобы никто не мешал. Лег в Стрешнево. Там не такие порядки, как у вас. А оттуда, кто их

знает, что им взбрело, меня перевезли сюда. Вот и вся история.

— Но в диспансере вы как-то обосновывали свое состояние, называли мотивы.

— Это была всего лишь симуляция чистой воды. Надо было академический получить, чтобы не выгнали из института...

Я даже на это пошел, лишь бы за психа не считала. И не лечила, главное.

Она улынулась краем рта. Я замолк. Провести ее или доказать, что я здоров, было невозможно. Так хотя бы облегчить свою диагностическую участь. Но как?

Взяв ручку, она склонилась над историей болезни. Потом быстро вскинула свою гладко причесанную голову и сказала:

— Очень жаль, Саша, что мы не нашли с вами общий язык. Очень жаль.

Будь ты проклята, подумал я. Я хорошо себе представлял, что это значит, когда психиатрический врач говорит "очень жаль".

— Если я вас правильно понял, Лина Дмитриевна, скоро вы меня отсюда не выпустите?

— Не знаю, не знаю, — пропела она загадочно.

— И в ближайшие день-два я отсюда не уйду?

— Ну, что вы, об этом и речи быть не может.

Она открывает отмычкой вторую дверь, выходящую из ее кабинета в наш коридор, и выпускает меня. Я снова среди них. Очень тоскливо и совсем пусто. Мерзко на душе. Первый сет я проиграл по всем статьям. А жаль. И отдохнуть летом нигде не успею.

Я иду в курилку. Следом бежит медсестра и говорит, чтобы я перенес вещи из наблюдательной палаты в другую, обычную.

В дверях появляется волосатая заспанная грудь. Это — Илья. Он узнает меня, закуривает из моей пачки, как из своей, и садится рядом.

— Ох, Саша, какой устроим бордель, когда отсюда выйдем. Грандиозный! С трюфелями, девочками, шампанским.

— Я не пью, Илья, и не сплю... Но когда выйдем, напьемся, конечно.

В моей новой палате спали Саша с Сережей, которые встретили меня, как хозяева гостя, пришедшего в их дом. Я занял койку у окна, кого-то перевели на спокойную половину, в углу все же безопаснее. С двух сторон защищен стенами... Моя прекрасная Лина Дмитриевна назначила мне три препарата. Два из них подавляли, третий корректировал подавленность. Или меня, подавленного, как хотите.

В таком состоянии все становится кислым и тошным, безразличным, до лампочки. Люди, события, эпизоды — все проходит перед глазами, словно серый, монотонный фильм, как о приемах в Кремле. Единственно, что делаешь, это — смотришь. Но ни в чем не участвуешь.

Буйных на нашей половине не было. Все ходили напичканные лекарствами и заколотые уколами. Я решил, чтобы укоротить время, наблюдать за теми, кто рядом со мной. Может, захочется когда-нибудь написать о них. Хотя я понимал, что это все чушь и написать мне ничего не захочется. А если и захочется, то не смогу, для этого талант нужен, дар! А талант — штука редкая.

## 6

Лина Дмитриевна появляется так же редко, как женские импортные сапоги в продаже. Утром, часов в девять, она обегает своих больных, разбросанных по палатам, задерживаясь не более половины минуты у каждого. При очередной нашей встрече каждый раз происходил блиц-диалог:

— Лина Дмитриевна! Ну, долго вы меня еще будете здесь держать? Надоело уже. Кончится тем, что я окончательно рехнусь среди ваших шизиков.

— Недолго, Саша. Вот ты подлечишься немного, и тогда я сразу выпишу тебя. Говоришь, что чувствуешь себя хорошо, а глаза грустные, невеселые.

— С чего мне быть веселым? От пребывания в вашем пси-

хоугодном заведении? На прогулку не выпускаете, на другую половину не переводите.

В последний раз она сказала:

— Хорошо, гулять разрешу. А переводить на спокойную половину пока подожду. Что-то мне не нравится твое настроение. Потерпи, все будет хорошо.

Она мне обещала ту половину, как сказочное царство. Дни тянулись так, словно состояли из тысячи и одной ночи, а не из 24 часов. И одной минуты, когда одни 24 часа переваливались в другие. Я бесцельно слонялся по коридорам, проклиная шизофреников, которые, раздражая, маячили туда-сюда. Я освоился и стал цепляться к психам, чтобы развлечь себя как-то, развеселиться. Это были не "всадники без головы", не "наполеоны" и даже (крайний замусоленный случай) не "гитлеры". Это были простые психи, рядовые, как реки, не претендовавшие ни на какие исторические роли.

Дебил Рома, которого я прозвал "шефом дурдома", при всем своем кретинизме осознал, что просить у меня сигареты — дохлый номер. Не потому, что мне было жалко, а просто хотелось вывести его из себя, завести и посмотреть, что будет. Вообще я всегда лезу, куда не надо.

Как-то раз на прогулке я привязался к нему. Совсем сдурил. Подошел к нему и пнул его рукой. Глаза его на минуту вспыхнули, мне стало не по себе, но отступить было поздно.

— Рома, шеф дурдома, — сказал я, — давай подеремся.

И тут я в первый и последний раз услышал от Ромы гнусавую, нечленораздельную фразу:

— Азарта нету.

— Рома, а я тебя стулом по голове?

— А я ножку отломаю, — прогнусавил Рома, и, заулыбавшись, ушел от меня подальше.

Рядом со мной лежал один национал, кто точно, не знаю, но не русский. Мне сказали, что он принудчик, раньше сидел в лагерях. Перед моим появлением он сбежал из отделения (как ему это удалось, не представляю) в одной пижаме и пробрался домой к старикам. Он был средней комплекции,

может, посильнее других, с коротко остриженной головой, как будто из заключения или из армии.

Родители испугались появления сына и позвонили в милицию тайком. "Ментовка" и карета психпомощи прибыли одновременно. Он хотел проскочить через балкон и уйти, но по приземлении ему чем-то шквально пробили лицо. Забрала его "ментовка"—карета психиатрической помощи как будто не приезжала. Ему добавили еще шесть месяцев, когда его вернули. Принудчики минимум получают после суда шесть месяцев лечения, а если кто-то из них убегает, то ему со дня возвращения добавляют новые полгода, как срок. Этот убежал, когда ему до конца срока оставался всего месяц. Я спросил его как-то, зачем он сорвался, когда оставался такой пустяк. Он ответил, что абсолютно здоров и не может сидеть среди психов.

Однажды он вдруг сам разговорился со мной.

— Ты, наверное, слышал, здесь друг другу все рассказывают, что я бежал через забор в одной пижаме. дождался ночи и вернулся домой. Потом меня поймали, это ты тоже, наверно, слышал и привезли туда. А дальше я тебе расскажу то, что никому не известно. Чтобы знал, какие там суки.

Почему он захотел, чтобы именно я узнал, какие там суки, не знаю. Мне всегда везет на учителей.

— Привезли меня туда, лейтенант за столом спрашивает, кто я и что. Заходят еще двое в такой же форме и ждут. Видят прекрасно, что я в пижаме, но виду не подаю. Объясняю, кто я такой, не реагируют. Лейтенант говорит: "Может, ты преступник, а не псих вовсе, почему мы должны тебе верить. Документов при тебе нету. А коли ты псих, так в дурдоме сидеть надо, за тебя государство платит, а не по Москве бегать". Закрыли они дверь плотно-плотно. Время было позднее, в отделении никого, кроме них и меня. Подошел ко мне один из двоих, которые позже вошли, и говорит: "А ты ведь, курва, сидел к тому же прочему, и не раз! А? Тебя в психиатричку не для бегов посадили. Или мало мы тебе рога обламывали на допросах? Прикинулся шизом, так и

сидел бы, а то по воле захотелось побегать, мразь?"

Не успел я ответить, как он, коротко размахнувшись, попал мне в сплетение. Подскочил второй, сапогом в пах, потом еще и еще. Били втроем. Последнее, что помню — улыбающееся лицо лейтенанта, берущего телефонную трубку... Я того лейтенанта запомнил и место их тоже. Выйду, хоть с одним порешу, все равно терять нечего, это уже не жизнь, — у нас не прощают. А одним ментом меньше будет.

Он рассказывал, а на лицо его страшно было смотреть. Оно напоминало кровавую разноцветную мозаику с преобладающими красно-синеватыми тонами. Я никогда не видел таких диких кровоподтеков под глазами, сквозь которые с трудом пробирались его затаившиеся зрачки.

## 7

...У противоположной стенки лежал Митя, подарок Аллаха грешной земле. Но мне почему-то было его жалко, и я всегда оставлял ему покурить. Митя был идиот от рождения. Морду глупее придумать было трудно. Не то была зигзагообразно вытянутая вниз, не то зигзагами, округленная, раздвигалась вширь. Ходил он вечно приплясывающей на правую ногу походкой. Надежд на его выздоровление было столько же, сколько на Рому — что он станет полноценным членом советского общества.

Мать его, весьма пышная, холеная особа, появлялась редко. Скорее, для проформы, чем из материнских чувств. (Ей, видимо, было достаточно, что родила идиота.) Она, кажется, имела какое-то отношение к медицине, и ее знали здесь все, вплоть до зав. отделением (был тут такой подарок — Григорий Моисеевич, правда, его никто никогда не видел). Придет, покормит в прихожей Митю булочками и уйдет со спокойной душой.

Относились все к Мите, как к полному болвану. Но особенно не переносили его нянечки. Митя страдал недержанием мочи. Спал он всегда на пеленках, лечить его урологию никто

не собирался. Уписывался он по несколько раз в день, в свои штаны. Но это было личное дело Мити, в каких штанах ему ходить. Каждый раз вечером, едва он успевал улечься, как через минуту раздавалось: "Ня-ня..." И запах в палате стоял невыносимый. От духоты и закупоренных окон. Няньки его проклинали на чем свет стоит:

— Вот, ирод проклятый, опять обоссался! Перед тем, как лечь, водила тебя! И снова. Завязывал бы себе сморчок на ночь. — Вся палата дружно ржала, а Митя бормотал что-то стеснительное. И они меняли ему все и мыли его. Бедные российские нянечки! Чего они только не делают и для кого! И за какие гроши!

Митя был безбожным онанистом. По-моему, он и в столовой онанировал, пока дожидался смены первого блюда вторым. По крайней мере, ручонкой он вечно что-то под столом делал. Меня он любил, так как только я и оставлял ему покурить, другие смеялись и говорили, что, когда мама разрешит, тогда и оставим. Но всегда, когда я передавал ему сигарету, я показывал, чтобы он брал ее за нижнюю часть, в то время как мои пальцы были в верхней части ее. Не мог я прикасаться к его руке, ну, не мог. Сигарет же ему его родительница почему-то не приносила: наверно, по тем же субъективным, известным одной ей причинам, по которым не брала его домой.

Да и вообще, мало очень приносили сигарет, и их хронически не хватало. Ко мне приходила только одна женщина, которая приносила мне сигареты. У нее было много работы в биологическом институте, где она была научным сотрудником, но для меня она всегда выкраивала время. Это была золотая женщина. Таких добрых и отзывчивых людей я не встречал и более, вероятно, никогда не встречу. Она заменяла мне и мать, и отца, и вообще все старшее предтекущее мое родство. В котором я, собственно говоря, не нуждался. Ни одна собака из так называемых моих дядей и тетей не пришла ко мне. Я не в обиде. Заботы этой женщины с лихвой восполняли все то показное, что исходило бы от моих родственников.

Эту женщину звали Анной Ивановной. Мне нравится имя Анна. Раз в два или три дня она обязательно у меня бывала. Откуда она находила время, не представляю. С этими идиотскими московскими расстояниями, постоянно переполненным транспортом.

Видеться с больными разрешалось лишь раз в неделю, в субботу. Но, помимо этого, еще два раза в неделю приносили передачи с едой. Если удавалось уговорить врача, он разрешал поговорить минут пять-десять. Анне Ивановне всегда удавалось выпросить у моей прекрасной Лины Дмитриевны это драгоценное, коротенькое свиданище.

Свидания происходили в комнате отдыха, такой небольшой комнатенке со стульями, как в столовке, со столами и лозунгами Ленина на стене, и плакатами о пятилетке. При чем тут психи и пятилетка, я никак не мог понять. Да еще в четыре года! Но, может, психи и должны были ее делать?

## 8

Когда Анна Ивановна пришла ко мне в первый раз, каким-то чудом разыскав меня, я заметался у окна, как зайчик, как белка, как черт знает кто, пойманный в клетку, но увидевший луч свободы. Луч на свободе. Я не верил, что со мной будет говорить нормальный человек, который не будет нежно заглядывать в глаза, успокаивая меня, что все будет хорошо. Хотя я знал, что ничего хорошего не будет, тем более в моей жизни. Подсознательно я боялся, что она отнесется ко мне не как к совсем здоровому человеку. Откуда им там на воле знать, что сюда половина попадает не больных. И из этой половины — одна часть по собственному желанию, а другую — упекают. Но первые же ее слова успокоили меня:

— Санечка, как ты оказался здесь?! — В этих словах сквозило столько тревоги обо мне, что у меня булькнуло что-то в горле и покатилося.

— Я не знаю, Анна Ивановна, это не моя вина. В жизни все происходит незапланированно. Кажется, они испугались, что я пошел сам зуб лечить. А, может, еще почему, не знаю...

В следующие встречи с ней я был гораздо спокойней и выдержанней, стараясь казаться уравновешенным, — я не хотел расстраивать ее.

— Разве тебя до сих пор не выпускают гулять? — спрашивает она.

— Стали выпускать, да толку мало. Отсюда выходишь, раз пересчитывают, к выходу из подъезда подойдешь — снова пересчитывают, гуляешь по маленькому клочку земли, а вокруг стоят квадратом санитары. Назад идешь, снова считают.

— Так ты все-таки ходишь гулять? — спрашивает она меня.

— Нет. Первый день пошел, больше не хочу.

— Санечка, это плохо. Я разговаривала с твоим врачом, она говорит, что тебя надо лечить. От чего, я сама не пойму. Но то, что ты не ходишь гулять, она считает продолжением твоей болезни. Ходи, пожалуйста, если тебе не трудно.

Я обещаю ей ходить И говорю:

— До того здесь тошно, сил нет. Грязь кругом, одни и те же лица, до оскомины, да еще триптизол, от которого ходишь сутками отключенный.

— Ну, потерпи, малыш. Я попробую переговорить с твоим доктором, может, она тебя поскорее на спокойную половину переведет. А как ты себя чувствуешь, ничего не болит?

— Что вы, Анна Ивановна! На свободу только хочется — страшно. Не верится, что когда-нибудь выйду отсюда.

— Выйдешь, конечно, и я сама заберу тебя. — Она смотрит грустно на меня. Потом ободряюще улыбается.

— Санечка, мне, к сожалению, пора идти. Ты же знаешь, если хочешь иметь разрешение в следующий раз, в предыдущий — надо быть дисциплинированной. А она мне всего десять минут дала. Я тебе тут принесла кое-что, положи обязательно в холодильник.

Мне жутко стыдно, что она, уставшая после работы, имея кучу своих забот и с докторской диссертацией, и по дому, и с дочерью, должна стоять в этих проклятых магазинах, где ничего нет, в этих идиотских очередях, где одни скандалы,

ездить ко мне несколькими видами транспорта, а завтра, чуть свет, опять на работу и опять, как белка в колесе.

Единственное, что мне хотелось еще: увидеть женщину, пожалуй, одну, которую за всю свою непутевую жизнь я, кажется, любил. Она отдыхала за границей, у родителей, и мы не виделись уже почти полгода. И, вероятнее всего, она давно забыла о моем существовании. Логично. Я не в обиде. Кого-то мы забываем, кто-то нас... Вещи, не зависящие от нас и наших желаний.

## 9

В пятницу, на следующий день, я был переведен после обеда на другую половину. Кажется, заботы Анны Ивановны не пропали даром. Заводят меня на эту самую долгожданную половину, а там ти-ши-на! Такая тишина, что даже не верится. Няня вводит меня в палату и показывает свободную койку — располагайся. Что я и делаю. И тут же на радостях иду по коридору в курилочку, настроение, хоть прыгай. Прохожу мимо столовой и вижу — сидят двое. Первые психи, которых я увидел на этой половине, юбилейные, можно сказать. Правда, юбилеи не бывают вначале, тогда — символические. Один — почти лысый, с покрытием волос типа ежика, другой — с солнечными волосами на голове и громадный, знаете, северные витязи такие были, да не наши, а норвежские или там датские. Очень похож на актера, который добрых принцев всегда в сказках играет, забыл, как его... а, вот, вспомнил — Олег Видов. Но я все равно иду выкурить в курилочку свою сочную американскую сигарету. Захожу, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется Сережа. Да за что же это я проклят кем-то? Его рука уже в моей пачке, и я согласно киваю головой. Он, как и Илюша, чего-то собирается мне спеть (оказывается, и он певец!), а я, не выкурив сигарету, ухожу. И вообще: обещал на той половине две тысячи в месяц, а на деле я ни фига не получил.

Двое по-прежнему сидят в столовой. От нечего делать подхожу к ним. В психиатричке чувствую себя уже, как рыба

в воде. Лысый, то есть он не лысый, а с очень короткими волосами, сидит с английским словарем и переводит какую-то американскую книжонку. Витязь что-то добродушно лопочет ему под руку.

— Ребята, кто это играл на пианино?

— Я, — отвечает лысый и снова смотрит в книгу.

— Ты увлекаешься джазом? — спрашиваю я.

— Да, — отвечает лысый, — немного.

— Меня зовут Валера, — встречается ни с того, ни с сего витязь, — а его — Венька. Он играет на пианино, а я пою. А тебя с беспокойки перевели?

— Да, только что.

— Симулируешь? — улыбается Венька.

— А что, похоже? — сияю я. — Наконец нормальных людей встретил.

— Да как тебе сказать...

— Так прямо и скажи!

— А ты что, филолог, что ли? — спрашивает Венька.

— Собираются им сделать. А как ты узнал? — удивляюсь я.

— Да вечно они с выворотом.

— А вы?.. — спрашиваю в свою очередь.

— Я — принудчик, — говорит Венька, — а Валера тоже что-то в этом роде.

— Ну, так сыграешь? — снова прошу я. — Как-то неприлично, что есть пианино и кто-то играет на нем.

— Вообще-то у меня режим, разве что пару минут.

Я не понял, какой режим, не больничный же, но решил пока не спрашивать. Валерка не выдерживает молчания и снова встречается мощным рокотом:

— Мы йогой занимаемся. Я — хатха-йогой, а Венька — раджи-йогой.

Я опять ни хрена не понял, но, сделав умный вид, закивал головой в знак полнейшего понимания. Венька спрашивает, что я хочу, — коли он играет для меня. Я прошу сначала Гершвина, потом одну "коронку" Эллы Фитцджеральд, затем Армстронга и одну вещь Кола Портера. Это мои любимые. Джаз

— моя слабость, к нему приучил меня старший брат. (Хоть одно полезное дело сделал!)

Венька играет, и я не верю, что он все это знает. Импровизирует он идеально. И, как узнаю я, он не просто увлекается джазом, а — профессиональный джазист. Зарабатывал тем, что играл в кабаках, и жил на парносах, как и каждый музыкант в таких ансамблях. Был у него свой стиль импровизации, не повторяющий никого. Он окончил музшколу (кто их не кончал!), потом зачем-то — МАИ и, отработав положенное, поступил в "Москонцерт". Достал где-то американский двухтомник "Самоучитель джаза" и выучил его от корки до корки. Джаз он обожал, но не выносил, когда просили играть по заказу. А просили абсолютно все: от врачей до психов, поэтому он и был здесь на привилегированном положении и мог не гулять, когда все гуляли.

Я сижу замороженный, не веря, что все это происходит в психбольнице, и я слушаю такие вещи, и что так хорошо на этой половине, подальше от той, с буйными, идиотами, и что, кажется, уже не должно быть инсулиновых шоков, на спокойной половине их вроде бы и не делают, и не верю, что я когда-нибудь выйду отсюда. А Венька все играл, уже свое, и не спрашивая меня, и казалось, что его игре не было начала и никогда не будет конца.

10

Я бреду по коридору и вспоминаю, что такое инсулиновый шок. Рома лежал в палате, куда я случайно вошел, на кровати лицом вверх, а рядом стояли медсестра со шприцем, моя прекрасная Лина, санитар и какая-то еще медсестра. Кто-то тихо скомандовал, меня они не видели. Санитар тут же надел ему на туловище. Лина держала его отброшенную руку, а еще медсестра держала вторую, с другой стороны кровати, венами вверх. Медсестра со шприцем вогнала ему иглу в вену и стала туда медленно вводить инсулин. На половине шприца он задергался так, что, казалось, иглой вспорет себе вену, прорвав ее насквозь и в длину. Он бился в конвульсиях, и

тогда они все, скопом, навалились на его судорожно бьющееся тело. Еще мгновение и, казалось, от нечеловеческой боли он вырвется из-под них. А она все продолжает вводить инсулин в вену. Вдруг Рома дернулся, закатил глаза, дрогнул и затих, будто мертвый. Сестра спокойно довела штырек до конца и только потом вынула иглу из руки. Рома лежал покойный, без движения, не дыша. Я думал, они угробили его, а медсестра взяла второй шприц и подошла ко второй руке, которую держала Лина. Рома был без сознания. Она с трудом наковыряла там иглой ушедшую вену и ввела содержимое внутрь. Это была глюкоза, которой жаждал после таких вот инъекций организм. Он слабо шевельнулся, открыл полубезумные, ничего не соображающие глаза и что-то прошептал губами.

— Все нормально, — подбодрила его Лина, — ты был молодцом.

Мне объяснили, что это и был инсулиновый шок, когда тебя сначала умышленно загоняют на тот свет, а потом вытаскивают из него. Это считалось действенным методом лечения психически ненормальных, при котором больные клетки мозга уничтожаются и возрождаются новые, здоровые. Этого шока боялись все — и здоровые, и больные, даже последние понимали, что это за ужас и чему их подвергают, и только в этой дурацкой больнице еще занимались этими шоками и разрабатывали ужас в систему. Тогда я решил, что если эта полуубийца Лина прикоснется ко мне своей страшной иглой с инсулином, я такое устрою, что от их дурдома не останется камня на камне. А по ночам я просыпался и хватался за свои вены, мне казалось, что в них что-то вкалывают. Тайком, незаметно.

Прогулка на спокойной половине строго обязательна. Разрешено оставаться только Веньке — как он убедил врача, не знаю.

Когда все уходило гулять, Венька переводил с английского книжку по йоге, которую я сначала принял за бульварную. Английский он тоже выучил по самоучителю, чтобы пользоваться литературой по йоге, которую никогда у нас не переве-

дут. Он свободно читал и переводил, сидя в этом психоугодном заведении, где ему предстояло пробыть еще долгие месяцы. Я поймал себя на мысли, что так же, как и Венька, не хочу гулять, а хочу оставаться с ним, и начал оставаться. И вот к чему это привело. Сначала я столкнулся со старостой спокойной половины, по фамилии Шахенко. На кой черт была эта должность, я понять не мог. На буйной половине никаких старост не было. Шахенко целые дни ничего не делал, и имел отдельную каморку в кабинете под названием "Реабилитация различных органов". Но так как там ни х..я и никого не реабилитировали, Шахенко там и обитал. К старостам у меня была заочная неприязнь, еще из института. Этот, к тому же, был трусоватый и подловатый. Почему-то страшно ненавидел евреев и, как огня, боялся Григория Моисеевича, опасаясь, что зав. отделением, возникающий раз в неделю на психиатрическом горизонте, нет-нет, да и узнает о его юдофобстве. Однажды Шахенко по какому-то поводу столкнулся с Венькой, на свою голову. Венька пугнул его, что расскажет Григорию Моисеевичу про его болтовню о жидах и жидовье. Взял на пушку. Шахенко отстал от него раз и навсегда, даже старался не смотреть в его сторону. Я про все это знал.

И вот, часов в пять мы сидим с Венькой в столовой, появляется староста и обращается ко мне:

— А ты почему не на прогулке, молодой, а?

Я, как ни в чем не бывало, беседую с Венькой, а Шахенко толкает меня в плечо и говорит:

— Ты что, молодой, глухой уже?

С трудом сдерживаясь, спрашиваю Веньку: "А это кто такой?"

Венька не любит вмешиваться в чужие дела, для него личный покой — прежде всего, так учит йога, и он неохотно отвечает:

— Наш староста...

— И что же ты хочешь от меня, староста? — спрашиваю я ленивым голосом.

— Ты почему не на прогулке, сопливый, порядков не знаешь?

Я уже готов припечатать ему промеж глаз, чтобы не слышать этот мерзкий голос с раздражающим хохлацким акцентом. Но сдерживаюсь, вспоминая незабвенную Лину Дмитриевну и ее беспокойную половину.

— Послушай, староста, — говорю я, — а не научить ли тебя вежливости, если в детстве не научили?

На вид он рыхловатый, хотя ему лет тридцать. Система у меня простая: пах у всех одинаковый, а там, кто первый попадет.

Он стоит, с секунду раздумывая, а потом вдруг неожиданно щелкает меня по носу:

— Щенок еще!

Я вскакиваю, коротко размахиваюсь и вдруг оказываюсь снова на ступе. Венька, все еще держа меня за руку, говорит:

— Здесь этого делать не надо. И вообще, личный покой — прежде всего.

Я как-то сразу поник и, развалившись обмякшим телом на стуле, раздельно, с чувством, толком, расстановкой говорю старосте:

— А пошел бы ты на х..., мудака!

Он вскакивает и чуть ли не шипит мне в лицо:

— Я доложу, обязательно доложу твоему врачу, — поворачивается и застывает от моей следующей фразы:

— А я — Григорию Моисеевичу...

Не проходит и двадцати минут, как появляется моя профурсетка Лина Дмитриевна. Я объясняю ей, что должен учить английский и показываю Венькин словарь. Скоро госэкзамены, а времени совсем ничего, и у меня нет возможности заниматься. И еще говорю, что расскажу все Анне Ивановне, что одному побыть нельзя, пусть вызывает маму, надоело все, к черту!

А Лина Дмитриевна, по лицу видно, уже стоит и прогнозирует: раз не хочет быть с людьми, значит, состояние подавленности и депрессии продолжается. Потому и ищет одиночества. Раз ищет одиночества, значит, назначенный курс лечения не помогает и его надо углубить.

— Это твой врач? — спрашивает Венька.

Я киваю согласно.

— Повезло тебе, — говорит он.

Один раз, за ужином, Венька показал мне мужчину, сидящего за соседним столом. А после ужина рассказал его историю, начав ее так:

— Хочешь послушать кое-что интересное о своем враче?

Я безразлично кивнул: она меня не интересовала. Но он все-таки рассказал.

Этот мужчина находился в психиатричке уже девять месяцев. Был он средних лет, крупный, с очень добродушным лицом, такие встречаются редко. Было трудно поверить, что он может кому-то причинить зло. Он жил недалеко от больницы. И как-то раз пришел в приемное отделение и сказал, что у него бессонница и немного болит голова. Дежурила Лина Дмитриевна. Она немедленно положила его к себе в отделение, в наблюдательную палату, и для начала вклеила ему диагноз: вялотекущая шизофрения. А потом назначила лечение инсулиновыми шоками... Во время очередного шока, конвульсивно рванув рукой, которую ни Лина, ни медсестра не удержали, он иглой вспорол себе вену. От боли и начавшихся конвульсий — пока они стояли растерявшиеся — он грохнулся с кровати на пол и сломал себе позвоночник. Со сломанным позвоночником Лина Дмитриевна направила его в специальный травматологический госпиталь, где ему в течение месяца были сделаны три спинно-мозговые пункции. Последняя окончилась клинической смертью, его чудом спасли и отправили... обратно к Лине Дмитриевне. Она положила его на сей раз на спокойную половину и продолжала лечить ударными дозами таблеток, по-прежнему считая его больным. Раз в месяц его забирали в тот закрытый госпиталь и там что-то творили с ним из области прикладной травматологии.

По выходе из психиатрической больницы (когда это будет!) он автоматически получит инвалидность первой группы. И это на всю жизнь.

А на следующий день Венька не удержался, видя, что я еще чего-то недопонимаю, рассказал мне, как ему самому пришлось столкнуться с моей Линой Дмитриевной, к счастью, ненадолго. Венькин врач куда-то уехала на неделю, взяв за свой счет отпуск. И Лина сразу назначила ему такую дозу таблеток, что на второй день у него стал вываливаться язык, беспричинно, и ему начало казаться, что к его ногам ползут какие-то гады, шипят вокруг и пытаются взобраться на него. Скоро вернулась его постоянный врач и все отменила. После этого случая с Линой Венька стал думать как бы не принимать таблеток вообще. И придумал.

Все, кто жульничал с таблетками, засовывали их либо под язык, либо за щеку. Санитары это тут же узнавали, залезая пальцем в рот — наказание было мгновенным: больного переводили на уколы.

Венькина система заключалась в том, чтобы разом бросить все лежащие на ладони таблетки в рот. Никому и в голову не приходит, что он молниеносно успевает их затолкать под верхнюю губу языком. Вдоль десны. Он непринужденно выпивает глоток-другой воды, который, ничего не смывая, уходит внутрь. Если у санитаря и оставались сомнения, то после воды они окончательно исчезали. Затем по Венькиной методе следовало мчаться в туалет и сплевывать все аккуратно в дырочку, обязательно в дырочку, чтобы после не увидели и не доложили.

Венька ложился спать с отбоем, молниеносно засыпал, чтобы подняться в шесть утра и идти заниматься йогой. Меня поражало, как взрослый человек может заниматься подобными глупостями. Но так как мальчик я от природы любопытный, то от насмешек перешел к вопросам. Вопросы — это моя слабость. Нужно сразу объяснить, что вопросов я мог задавать тысячу в минуту, и, не дослушав ответы на первую тысячу, сразу же высказывал вторую. В такие моменты я, наверно, чем-то напоминал маленького племянника Бабеля, которого звали Люся и о котором Паустовский в своих мемуарах писал, что это был еще "тот мальчик". Он тоже всем задавал вопросы и больше тысячи.

Разыскивал я Веньку обычно за кактусом в конце коридора, где стояла маленькая скамеечка. Дождавшись, пока он кончит положенную норму вдохов и выдохов, я забрасывал его вопросами. Он терпеливо мне все разъяснял и постепенно обратил меня в свою веру. На свое удивление я заинтересовался йогой и, кажется, надолго.

Сам он услышал о йоге случайно. Тогда он решился и написал в Америку человеку, который почти десять лет вел по американскому телевидению единственную в мире программу о системе йогов. Между ними завязалась переписка, и за год Венька получил от него, кажется, семь книг. Так Венька стал йогом и преподавал эту науку мне.

Валерка тоже занимался йогой, но только хатха-йогой, физической, без мозговых углублений и мысленных медитаций. Мозговые углубления и мысленные медитации ему были не нужны, он вообще не понимал, зачем они существуют. И надо отдать ему должное — фигура у него была бесподобная, любой культурист мог бы позавидовать. Торс, грудь, руки — все как будто было сделано из высококачественного металла, а не человеческого, слабого и уступчивого тела. Валерка нравился одной из медсестричек. Была она в очках, с пепельной стрижкой, легенькая такая девочка. Давалочка. Такой она мне, по крайней мере, казалась. Валерка рассказывал нам с Венькой, что она тайно давала ему циклодольчик, понемногу, якобы для корректировки организма. Мудрый Валерка собирал по десять таблеток, а потом их разом глотал, испытывая при этом прилив радости, может, еще и от того, как ловко водил он за нос родной дурдом.

Почти все время он проводил с другом своим Володечкой. Тот без наркотиков вообще жить не мог, хотя выглядел всего лет на двадцать, у него всегда были пунцовые щечки, миленький такой — херувимчик. Они с Валеркой постоянно носили с собой по спичечному коробку, которые нигде не оставляли и никому не доверяли. В коробки эти собирали из всех каналов, прорубей, лазеек и отверстий таблетки циклодола.

И еще пили чифирь. Однажды, напившись его, Володечка рассказал нам с Валеркой историю из серии "их нравы".

— Понимаешь, — бормотал он шепотом, — Анька, процедурная сестра, колола мне магнезию в вену. Я уже не говорю, что она колола тупой иглой, они все тут, дуры, тупыми колют, а новые для чего-то берегут. Так еще ее подружка из другого отделения ждала и все торопила. И эта сука неумытая, блядь, взяла со всего размаха и без остановки вогнала мне десять кубов в вену подряд. Вот, поверишь, аж пятки зажгло. Его же медленно вводить надо, постепенно, тем более, в вену. Под черепушкой, как от тока, зашуршало, языком пошевелить не могу. Клянусь, сдвинуться с места не мог. Она выпроводила меня быстро, захлопнула процедурку и была такова. Я подошел к ней после обеда и говорю, чтобы она головой своей думала, что ее руки творят, и что из-за ее сикушных дел я концы отдавать не хочу. Она заорала, что я психопат, что укол она сделала нормально, и еще доорала, что завтра доложит врачу, что опять себя веду не так...

А ты, Валер, сам знаешь, что это такое на их языке, когда "не так"...

Я сидел и с жалостью глядел на круги под глазами Володечки, на его ставшее вдруг болезненным (куда-то исчезли пунцовые щечки) лицо и думал, что скоро, совсем скоро я вырвусь отсюда, и все забудется, как будто и не было. И не буду я хотеть, чтобы вспоминалось. Мне будет страшно вспоминать, я не поверю, что был здесь, все видел и пережил. И еще: какое счастье, что мне не делают инъекций.

Утром, по привычке поговорив с Венькой за кактусом, я заглянул в палату Валерки и Володечки, чтобы поприветствовать их. Володечка был мрачен и медленно, как бы нехотя, вынимал свои вещи из казенной тумбочки. Валерка понуро, будто лошадь под уздой, переминался с ноги на ногу, ничего не говоря.

— Выписывают?! — радостно воскликнул я. Выписка ближнего — радость для всех.

— Нет, — ответил Валерка, — переводят на беспокойную половину.

Ошеломленный, ничего не соображая, я выбрался из палаты. Значит, переводят и назад. Значит, это процесс обратимый, как оттуда сюда, так и отсюда туда. Но я не хочу обратно, нет! Если его перевели просто так, почему же они не могут проделать то же со мной?! Господи, неужели когда-нибудь это кончится, неужели не будет Лины Дмитриевны, старост-психов, корабельных стекол непробиваемо-неразбиваемых... Неужели этого никогда ничего не будет?

Веня сидел за кактусом в той же позе, что я его оставил, делал свои вдохи и выдохи. Я торопливо, сбиваясь, словно это были мои последние слова на спокойной половине, рассказал ему о случившемся. Он ничему не удивился и снова повторил фразу, которую и до этого без конца повторял.

— Здесь выживет только сильнейший, причем твоя психика и спокойствие должны быть на супернормальном уровне, но не настолько, чтобы в этом могли заподозрить очередную патологию. Иначе ты не выйдешь отсюда никогда или тебя сделают т а к и м , что лучше не выходить. Тебе же, — он улыбнулся, — я посоветую, во-первых, не мешать мне, когда я делаю дыхание, во-вторых, уходить от раздражения извне, ну и в-третьих, не совать свой нос в подобные истории, если тебе не мало осложнений, которые ты уже имеешь.

Пришел санитар и увел Володечку на т у половину.

Целый день я слонялся, как неприкаянный. Все вываливалось из рук. Меня охватил какой-то гадкий страх изнутри, вызывающий тошноту. Когда наступил вечер, а вслед за ним ночь, я долго лежал и не закрывал веки, рассматривая пустоту, начинающуюся у моего лица и кончающуюся под потолком. Уродливые тени, отбрасываемые ветвями деревьев, растущих под окнами, колыхались на стене и были похожи на скрюченные подагрой пальцы; они скреблись по корабельному стеклу палаты.

Наутро ко мне подошел Валерка и сказал:

— Вышла моя медсестра на работу, попробую что-нибудь выяснить.

Я кивнул головой в знак согласия и встал послушно за его культуристской спиной. Получали таблетки. Я оглянулся, Венки нигде не было, наверно, уже получил свою порцию и торчит в туалете. Приблизился мой черед. Я подставил свою ладонь, и процедурная высыпала мне на нее две голубенькие, одну желтенькую и одну розовенькую таблетки. Если умножить на три, получалось двенадцать таблеток — каждый день, неплохая доза для здоровых мозгов! Интересно, буду ли что-нибудь соображать, когда я отсюда выйду?

Рядом стоявший санитар подал мне мензурку. Я раскрыл рот и разом высыпал в него все таблетки. Разом — эффективней. Потом я на секунду резко обернулся назад, как будто меня толкнул кто-то. После чего повернулся обратно и полностью влил в себя мензурку воды. И показал ему широко открытый рот, таков порядок. Он пощупал пальцем мою щеку, я же подобострастно приподнял язык кверху, чтобы показать, что под ним ничего не осталось. Он улыбнулся:

— Здоров же ты глотать.

Чтобы не вызывать подозрений, я прошлепал в палату, порылся в тумбочке, на что она отреагировала злым и недовольным скрипом, и уж потом двинулся в туалет. Я тщательно, двумя руками стягиваю штаны, ловко подхватываю у колен материю, задирая ее как можно выше, чтобы она не касалась пола, и сажусь на корточки. А во рту уже горчит, время кончилось. И я аккуратно и не спеша, точно, в отверстие, выплевываю из-под губы одну за другой две голубенькие, одну желтенькую и розовенькую таблетки с уже расплывшимися от слюны цветами.

Спускаю воду, натягиваю двумя руками штаны на бедра, сплевываю вновь, все еще горчит во рту, и не спеша выхожу вон. Цепкие пять пальцев хватают мой локоть, и ток жуткого страха бьет в голову (мудрейшая вещь — центральная нервная система, будь она проклята). — Попался!

— Знаешь, мой родной, — произносит сзади знакомый голос, — что при первом же попадании с подобными финтами ты будешь немедленно препровожден на беспокойную поло-

вину и получишь полный курс инъекций инсулина в объеме двадцати шоков...

— Венька! — радостно реву я, — ну, и идиот же ты.

Вечером мы идем на прогулку и, сделав для вида пару кругов, сразу же усаживаемся на лавочке рядом с Валеркиной медсестрой: я, Венька и сам Валерка.

— Значит так, мальчики, — начинает она, — утром я пришла на дежурство и до обеда была замотана, не могла ничего узнать. А в тихий час, после обеда Тоня (это другая процедурная медсестра) рассказала, как это случилось. Анька, которая заорала на него, что он наркоман, псих и его надо лечить инсулиновыми шоками, ушла после этого в процедурную и не выходила оттуда до вечера, до конца дежурства. Утром пришла Лина Дмитриевна и увидела на своем столе докладную, оставленную ей с вечера. Прочла и распорядилась немедленно, в течение пятнадцати минут, перевести его в наблюдательную палату на беспоконную половину. Что она там написала, неизвестно, — свидетелей нет. Да если бы и были, то кому бы поверили — психически больному или медицинской сестре?

Валерка молча ковырял сорванной травинкой в зубах, и лишь его ноздри, огромные ноздри, трепетно раздувались. Это молчание становилось тягостным и тревожным. Она словно что-то почувствовала, и рука ее нежно легла на Валеркину голову, чуть слышно и ласково, заскользив по его щеке:

— Не надо, Валера, не надо... Ему ничем не поможешь, а себе только сделаешь хуже, добавят лечение, плохое, и увеличат срок.

Потом резко выдернула из белого кармашка на высокой груди начатую пачку с таблетками, быстро выпушнула из нее несколько и склонилась к Валеркиной опущенной голове.

Мы с Венькой неестественно быстро отвернулись, каждый в свою сторону. Если я раньше думал о ней что-то плохое, непорядочное или пошлое, то простит меня Бог, если он существует. Больше подобных мыслей не рождалось.

Я стал по-другому относиться к ней, здоровался первый

и часто, когда вокруг никого не было, вместо приветствия целовал ей руку, — любой женщине приятно внимание. А у меня все так, вдруг. То мне не нравится человек, и я недолюбливаю его или вообще он мне безразличен, то полюблю кого-то мгновенно, и становится этот человек для меня всем, буду за него драться, насмерть. Венька учит: не будь максималистом. А я буду. Потому что не понимаю, как можно жить по-другому, — полужизнью, получувствами...

12

Как-то раз в столовой, сидя в одиночестве, Валерка рассказал мне каплю о ней, о своей девочке. Муж ее работал инструктором в райкоме партии в отделе пропаганды. Напиваясь до полусмерти и озверев, он насильно ее, дико избивал ногами в бока, в живот. При этом пьяно бормотал под нос: "В лицо нельзя, в лицо увидят..." Затем снова насильно и, удовлетворившись, за смерть падал в грязных туфлях на кровать и засыпал до утра. А утром, переодевшись, свежесмытый, бодро-весело шагал в райком учить людей партийной пропаганде. Свинцовые примочки после таких побоев ей мало помогали, кое-как выручала бодяга. Но жуткие кровоподтеки какого-то чернильно-красного цвета сохранялись неделями. В довершение всего, она стала бесплодной. Он этого не знал. И когда после очередного "раза", удивившись, спросил, почему она перестала предохраняться, она в испуге ответила, что месяц назад, когда он ее толкнул, внутри у нее что-то оборвалось, как будто лопнуло, и теперь вряд ли ей нужно это, предохраняться... Он заорал, что она с самого начала была такой и только дурила его. И за признание избил ее еще сильнее. Она так и не поняла, за что и почему он ее бьет, но догадывалась, что это было связано с чем-то мужским...

Валерка ей нравился, и она жалела его, подозревала, что его, как и многих других, страдающих наркоманией, лечат не так и не тем. Но что она могла изменить, — простая медсестра! И, чтобы хоть как-то сгладить последствия этих

лечений, она регулировала Валеркино состояние уравновешивающим циклодолом.

Вечером мы сидели с Венькой в темной столовой и ни о чем не говорили, каждый думая о своем.

— Вень, ты собираешься уезжать?

Он встрепенулся, мне это было видно, потому что мы сидели совсем близко к окну, и тусклый фонарь со двора слегка освещал его фигуру.

— Почему ты спросил?

— Я давно собирался, но, то времени у тебя не было, то я забывал, то место для разговора неподходящее... — Я замолчал. Он тоже помолчал, а потом как-то неотчетливо сказал:

— Я за это здесь и сижу...

— Как? — опешил я. — За это?

— Да, — ответил он, — все очень просто. Расскажу тебе, раз уж мы разоткровенничались. Что я принудчик, то есть после суда попал сюда, а не в лагеря, ты, наверно, слышал. Мы: я, моя жена, ребенок, ее мать и моя — все решили ехать. Вот-вот должны были получить уже визы, прождав полгода. По крайней мере, так обещали. Денег ни у моей матери, ни у ее не было — ни на билет, ни на визу, ни на выплату за гражданство. У нас с Мариной, правда, остались от кооператива, который мы продали, временно поселившись у моей мамы. Я впрягся работать, как каторжный. Днем и ночью играл на утренниках, обедах, свадьбах, а вечером — все время в кабаке. Ты знаешь, что это такое, играть в вонючем полутемном ресторане, с вечно нажравшейся в усмерть публикой. Но я играл. Ради этих несчастных парносов унижался до тошноты к себе. Время не ждало. Благо, йога уже тогда давала хотя бы относительное спокойствие. И еще мысль, утешала мысль, что вот уедем, там свобода, истинная свобода, родина, голова есть, английский изучаю, остальное придет, и главное, никто тебе никогда не скажет "жидовская морда". И за будущее своего ребенка не буду волноваться. По крохам, по пятеркам — чаевых с грехом пополам насобираю нужную тысячу. Билет около двухсот рублей до

Вены, триста рублей — за визу и пятьсот рублей за гражданство. Оно, казалось бы, дорого для меня, а, вообще-то, дешево "продается" это самое гражданство...

Он замолчал. Я быстро вытащил папиросу, зажег ее тайными спичками и затащил в кулак, выдыхая дым под стол.

— Ну вот, — продолжал он (была у него такая привычка, чтобы вернуться к повествованию, войти в рассказ, начинать его с "ну вот", да, наверно, у многих такая привычка). — Решил сначала, что должна ехать ее мать первой, а не моя. Сам понимаешь почему, неудобно было. Для других всегда стараешься больше, чем для себя. Моя же мама пока останется, а потом, оттуда, я пришлю ей деньги на выезд и на билет. Я отдал ее матери, при Марине, тысячу и сказал, чтобы она как можно быстрее все оформляла, вызов у нее был, и как родственников нас выпустят всех вместе. К тому же она старая и никому здесь не нужна, а государству лишняя пенсия сохранится. Наконец, мы с Мариной и сыном, ему три года тогда было, получили разрешение. Я позвонил и спросил ее мать, как у нее дела (она подавала отдельно), получила ли визу и когда собирается покупать билет. Мы с ней долго не разговаривали, так как я опять работал, как лошадь, пытаюсь насобирать что-нибудь для моей мамы и оставить ей на жизнь. Та, в свою очередь, очень удивилась и спросила, о чем я говорю и какой-то билет? После чего добавила, что она никуда не собиралась и не собирается ехать, может, я спутал что-нибудь. Я подумал, что она не хочет говорить обо всем по телефону, боится, и поехал к ним. Марина с малышом жили в то время у нее. И то же самое, только резче она повторила мне в своей столовой, сидя за полированным из красного дерева столом. Правда, объяснила, что передумала и никуда не поедет. Тогда я сказал: отдайте мои деньги и поедет моя мама, я с женой и ребенок. А вы, если надумаете, получите от нас деньги оттуда и приедете. И тут она спокойно, глядя мне в глаза, заявляет:

— А я у тебя никаких денег не брала, равно, как ты мне ничего и не давал.

Я обалдел, растерянно обернулся и увидел только что

вошедшую Марину, которая, по всей видимости, слышала весь разговор за дверь. Я поглядел на нее, пытаюсь прочесть в глазах хоть какой-то ответ, что это: маскарад, шутка, карнавал. Но она ничего не ответила и быстро ушла из комнаты. И тут ее мать вообще меня добила, как из ружья:

— А Мариночка, кстати, тоже никуда не едет... — и осеклась, видимо, увидев мои глаза.

Он вновь остановился и задумался. Я раскурил потухшую папиросу и не успел сделать двух затяжек, как он продолжал:

— Ну вот... о чем я? А, да. Так продолжаться дальше не могло. Я часто приходил, звонил, стучал в неотзывающуюся дверь, просил, умолял, но все было напрасно. Мало этого, она еще стала настраивать мою же собственную жену против меня, и та постепенно, по-моему, настраивалась. Однажды утром я решил с этим покончить. Я пришел к ним домой, Марина с малышом гуляла, и она открыла дверь мне случайно, не спросив, кто. И опешила с открытым ртом от страха. Ага, с удовлетворением подумал я, значит, колются чужие денежки. Категорически потребовал, чтобы она вернула мне все и перестала настраивать против меня свою дочь, мы все равно уедем. Она стала плести что-то, что больше не будет, чтобы я не обижался и что сейчас же вынесет мои деньги, если я подожду ее у подъезда. Я вышел, они жили на первом этаже, и сел на лавочку. Прошло пять, десять минут, время достаточное, чтобы вынести деньги, которые нужны были моей бедной, больной и измученной всем этим матери. Я встал и вошел в подъезд. Толкнул дверь в квартиру, она оказалась незаперта. Я окликнул ее. Никто не отозвался и, когда я вошел внутрь, в квартире ее не было. Ну, тут все вскипело у меня внутри, она меня еще и дурачит. И унижения, и зарботки, и парносы, и обиды, и жена, фактически, бросившая меня, и моя мать, которая ничего не имела. Я метнулся на кухню, схватил топор и вернулся обратно в столовую, еще не соображая, что буду делать. Выскочил в столовую и замер: и тут до меня дошло, ведь мебельный гарнитур-то красного дерева взялся из ниоткуда! При мне его не было. Вот, оказывается, куда пошли мои деньги, и почему ей нечего

было отдавать. Ох, и разошелся я, со всего размаха, полной рукой, без остановки, я стал рубить этот гарнитур слева направо и справа налево!

Взяли меня минут через пятнадцать, когда я все закончил. Я сидел на кухне, окончательно успокоившись, отбросив топор в сторону, и было интересно наблюдать, как вызванные кем-то милиционеры неторопливо и осторожно подкрадываются ко мне между груд и обломков того, что раньше называлось гарнитуром красного дерева. Следователь мне попался неплохой. Говорил я ему чистую правду, все, как было, и он, видимо, верил мне, начав копать под ее мать, мою тещу, собираясь завести дело на нее. Знаешь, там тоже иногда неплохие попадают... Он же мне и рассказал, что, когда я вышел во двор ждать ее, она сразу побежала вверх к соседям и вызвала милицию.

По его словам, мне ничего серьезного не грозило, разве что условно за семейное хулиганство, а вот под нее подводилась статья и, главное, деньги бы ей пришлось выплачивать назад. Она узнала это и стала действовать. Написала куда-то на следователя, и его временно отстранили, дали другого. Прекрасно сознавая, что такое желающий уехать, да еще уже получивший визу (у меня даже паспорта не было), она сообщила новому следователю дополнительные данные, что я собирался "бежать" в Израиль и, мало того, что сам сионист и предатель, так еще ее и ее дочь подбивал эмигрировать. И закрутилось все, и завертелось. Представляешь, какой они шанс неожиданно получили на уже выезжающего, да еще еврея. Ты же знаешь, там не только неплохие иногда попадают...

Следователь под меня сразу же подстелил статью, тянущую лет на восемь, а то и больше. Оказалось, что я с топором уже покушался на ее жизнь, и она была в непосредственной смертельной опасности. Сюда же подключили мою политическую неблагонадежность. А о ее вине и речи не было, конечно.

— А что делала твоя жена в это время?

— Ничего не делала. Молчала. Моя мама ходила по всяким инстанциям, плакала, умоляла, говорила, что не мог ее сын на

живого человека покушаться, и многие обещали помочь, выяснить, рассмотреть. Но когда брались за дело и узнавали, что несостоявшийся протеже хотел сорваться на землю обетованную, всеглохло, как в могиле.

## 13

...Солнце назойливо лезет в окно, в глаза, отчего просыпаюсь рано. Надеваю рваную свою пижаму и плетусь в туалет. Нехотя лезу руками и лицом под холодную воду, делая вид для самого себя, что умываюсь. Зубы я чищу действительно. Психячья команда уже давно повставала, не спится шизоидам. Либо по коридору циркулируют, как же, развалится он без них! Либо курилку дымом наполняют. Венька сидит и дышит за кактусом. Не то за пальмой, хрен ее знает. Та пара психов, что обычно дефилирует вместе, опять прогуливается под ручку, прогуливается взад, вперед. Санитар что-то вякает у процедурного кабинета, значит, таблетки пить. Не спеша плетусь и становлюсь в очередь. Сзади меня появляется Венька: надыхался уже, вообще сегодня все меня раздражают, настроение препаршивое. Зову Веньку гулять.

— Не уверен, что смогу, — говорит он, — надо порепетировать немного. Завтра танцы будут.

— Чего, чего?

— Танцы завтра будут, в комнате отдыха, девушки из 13-го отделения придут, — говорит он. — А я эти танцевальные мелодии раз в затмение играю.

— Ты что, серьезно? Психи будут танцевать с психичками?

— Ага, — лениво отвечает он.

— Вот комедия! Нет, ты врешь?!

— Зачем мне тебе врать, они это каждый месяц устраивают.

Завтрак кончается кое-как. Я иду в палату и беру книжку. Я читаю эту книжку, наверное, третий раз. До чего люблю ее, и в особенности этого мальчика, Холдена Колфилда. И очень жалко, что с сестренкой Фиби у него так нескладно получается. А у меня никогда не было сестры, и я всегда мечтал о ней. Но я один у родителей. А книжка называется "Над пропастью во ржи". И вообще, когда я читаю такие книжки, я

сразу становлюсь таким маленьким, и мне так уютно и удобно, и мне хочется быть таким хорошим. И я совсем не хочу быть взрослым. А этого Мориса, гада, лифтера, я бы три дня ждал и ловил, а на третий день словил бы и пришиб чем-нибудь. Все равно чем, палкой или кирпичом, но память ему на всю жизнь оставил бы, как из-за проститутки мальчика избивать.

Солнце просто нагло лезет в окно сквозь ветки и застилает (золотом, или яркостью, или белизной, или белым золотом) страницы, и я совсем не могу читать. Встаю с кровати и иду в столовую. Тихо, психов увели на прогулку, один Венька сидит по пояс раздетый и читает йогу по-английски. Ну, и мускулатура же у него. А сам с виду дохлый такой, когда в пижаме, совсем щуплый и невзрачный. Я сажусь в угол, за соседний стол, и читаю об американском мальчишке. Мне нравится, как автор пишет о нем и как он сам к нему относится. Как будто бы и не к своему, а совсем постороннему, к чужому, и в то же время, как только к единственно своему, близкому, неповторимому и родному мальчишке, и мне хочется, чтобы автор еще долго жил. И никогда не умирал, чтобы он мог написать еще много хорошего и прекрасного. Почему, когда мне хорошо или что-то нравится, я всегда думаю о смерти, и не желаю ее, и боюсь за других. Особенно за моих близких и тех, кого люблю я. Хотя таких и мало, очень мало, совсем почти нет, единицы.

## 14

Днем я неожиданно засыпаю и просыпаюсь весь в поту, мокрый. Переворачиваюсь с живота на бок, и глаза слипаются снова. Пытаюсь стряхнуть дрему и проваливаюсь в сонное забытие опять. И просыпаюсь, наверно, через четверть часа. Прищуренными глазами наблюдаю за солнечным зайчиком на стене. Где-то тренькает рояль, а, может быть, пианино. То ли по радио, то ли во сне. На сей раз мне удастся стряхнуть с себя сон и даже сбросить ноги с кровати на прогретый пол. В таком состоянии дремлю еще пять минут, от силы — десять.

Затем, натянув рваную пижаму, волокусь на звуки, Венька, моя ласточка, оказывается, сидит и репетирует. Я не слышал, чтобы так играли. Он импровизировал так легко, и так своеобразно, и так неповторимо, что не верилось, что этот человек сидит у инструмента, казалось, он живет в нем, существует в клавиатуре.

А потом снова прогулка, унылая, как само время, которое еле течет, плескаясь в этих заведениях. Мы уселись с Венькой на лавочке и, как умные, стали наблюдать за дурными. Два дурных зачем-то поспорили друг с другом. И о чем можно спорить в дурдоме? Один дурной взял, да и ударил другого, я не видел за что. Но я впервые увидел, как санитар подскочил и с размаху кулаком, прямо в подбородок, ударил больного. Тот падал плашмя, ровно — затылком на острый кирпич. Я подумал, что насмерть... Но ничего, очухался, через пять минут встал. Психи,они живучие...

Засыпаю долго. Тяжело ворочаюсь с боку на бок, свет этот приглушенный, проклятый, никак не привыкнут. Блестит тускло лампа над входом и этот мертвенный лимонно-гадкий свет...

Уже я плаваю во сне и вдруг чувствую, что кто-то лезет, точно, лезет в мою тумбочку и уже копошится там. Из сна очень не хочется выходить... Я цапаю вражескую воровскую руку, но она сбрасывает мою, как цыпленка.

— Тише ты, — шипит Валерка, — всех шизоидов перебудишь. И чего сам не спишь? — возмущается он.

— Ты у меня, суконка, уже всю пасту почти перетаскал.

— Не умрешь, принесут завтра.

Тоскует он по Володечке, переживает. Вот и творит дурь.

И вправду, будто в подтверждение Валеркиных слов, на следующий день Анна Ивановна приносит мне пасту. Мы сидим в комнате отдыха среди прочих психов с родственниками и разговариваем.

Сегодня суббота, приемные часы с 10 до 12. Братец мой, конечно, не знает, что в это время следует посещать больных, пациентов. Даром, что сам врач. Впрочем, никто из моих

московских родственников не пользуется этой привилегией. Это потому, что у меня простые родственники, не привилегированные. Им не нужны привилегии.

— Санечка, ну, как тут тебе? — спрашивает Анна Ивановна меня, — легче, чем на той половине?

— Да, вроде. Только сидеть взаперти сил уже нет.

— А что врач?

— Она даже не смотрит на меня. Раз в два утра зайдет на одну минуту ровно, скажет "как дела", похлопает по плечу и нет ее.

— Ну, ничего, малыш, потерпи немного. Я говорила с твоей мамой вчера. Она мне из вашего города звонила. Она специально вышла из больницы, чтобы связаться здесь, в Москве, с кем-то в здравоохранении, чтобы тебя выпустили отсюда. Очень переживала и никак не могла понять, как ты попал сюда.

Время незаметно подкрадывается к концу. Мы прощаемся с Анной Ивановной до следующего раза. Двери везде и за всеми захлопываются, они без ручек и открываются трехгранками. Как в тюрьме. Вот и прошло еще одно посещение. Мне делается тоскливо. Совсем невыносимо. Я уныло плетусь в отделение обратно, вволакиваюсь в палату и сажусь на кровать. В окне солнце. Светит свободно. Но я не завидую ему. Никогда не хотел быть солнцем. А хотел быть дождем. И чтобы женщина моя была травой, которую мяли капли дождя. (Это из фантазий, не обращайтесь внимания.)

Вытаскиваю пачку "Беломора" из Анны Ивановны кулька, который еще не успел положить в холодильник, и иду в курилку.

Ужин сегодня раньше, так как вечером танцы. Меня душит смех, как только я себе представляю это веселенькое зрелище. После ужина все разбегаются по палатам, а в 7 часов вечера психи торжественно скользят в комнату отдыха. Я сижу в столовой и никуда не скольжу. Идти смотреть на пси-

хов у меня нет никакого желания, насмотрелся уже, до тошноты. Поэтому я просто сижу и наблюдаю. А наблюдаю потому, что никогда не видел психически нездоровых женщин.

В предбаннике неожиданно гремят отмычки. Входная дверь полукрывается, а затем открывается совсем. И на нашу половину бесшумной цепочкой входят нездоровые женщины в неопикуемых халатах. Непривычное зрелище. Лиц не видно, в коридоре полумрак, но большинство из них, мне кажется, в возрасте. Они цепочкой и также бесшумно втягиваются в ярко освещенную комнату отдыха. Замыкает шествие торжественная медсестра: довела, никого не потрепала!

Я сижу и не двигаюсь. Из комнаты доносятся какие-то звуки, движения, возгласы. Кто-то кого-то узнает. Странно... Ах, да, я забыл, они же тут полугодиями сидят, и многие знают друг друга. Минут через пять вылетает запыхавшийся Валерка и несется в мою палату. Выскочив оттуда и не замечая меня, пронесется по коридору в курилку и, наконец, наткнется на меня.

— О! А я тебя ищу! — орет он. — Пойдем, с женой познакомлю.

— Чего? — не понимаю я.

— С женой познакомлю, — объясняет Валерка.

— Что, вся семейка тут? — пытаюсь острить я.

— С названной женой познакомлю, — улыбается он. Хватает меня за руку и, не спрашивая, тащит туда, внутрь. Свет ослепляет меня после темноты, я стараюсь прибиться у входа, но Валерка тянет меня через всю комнату и подтаскивает к женщине лет сорока.

— Вот, — говорит, — моя тетя Оля, — и ржет. — А это — Саша.

— Какой птенчик, — журчит она, — так бы и съела.

Не надо меня есть, думаю я, подавишься: это я с виду такой кроткий. Мы садимся рядом. Приятная женщина. Мне кажется, что в дурдомах должны быть только уроды и недоноски. Красивых здесь быть не может. Валерка потесней прижал ее со своего бока, да так, что другим своим бедром

она упирается в мою ногу. И, по-моему, она совсем не против. Я не знаю, приятно мне это или нет. Оглядываюсь по сторонам, все сидят вдоль стен на стульях, беседуя друг с другом. Венька, конечно, у пианино. Несколько человек возле, просят что-то сыграть.

Женщины, как я и предполагал, почти все немолоды, так что это совсем неинтересно. Разве что: долго будет Валеркина дама прижиматься своим бедром к моей ноге? Она делает вид, что не замечает. (Хотя в ее возрасте, по-моему, такие вещи заметны.) Что остается мне? Я тоже делаю вид, что не замечаю, что она не замечает.

Валерка встает, подходит к Веньке, хлопает его по плечу, и начинается концертная программа. Медперсонал сидит у двери, скрестив руки. Сначала Валерка объявляет, что исполнит арию Варяжского гостя из оперы "Садко", затем в его же исполнении песня современного композитора Арно Бабаджаняна "Благодарю тебя". После чего Венька сыграет "Марш интернациональных бригад". Все хихикают. Я тоже не понимаю, причем тут психкоманда и интернациональные бригады? Но, возможно, Венька видит все-таки в этом какую-то связь... Мне кажется, он с заскоком, не психическим — личностным. Так что не обижайтесь, интернациональные бригады.

— А потом будут танцы, — заканчивает Валерка, и раздаются дружные аплодисменты.

Венька играет вступление, как торжественную увертюру, Валеркина грудь вздымается, и он начинает петь. Голос у него мощный и рокочет так, что, я думаю, слышно на верхних этажах. Рычания свои он завершает невообразимым ревом: "Мы в море родились, ум-рем на море!". Поет он и правда неплохо, просто я так называю оперное пение: рычание. Венька на рояле творит невообразимое. Затем Валерка поет песню "Благодарю тебя", и все благодарят его. После этого Венька и вправду играет "Марш интернациональных бригад". Только в психбольнице возможны такие шутки, не на свободе. После концерта Валерка объявляет пятиминутный перерыв и садится по другую сторону от женщины, при-

жимающей свое бедро ко мне. Прижатие вроде ослабевает или мне кажется. Нет, мне показалось.

— Ну, как, Саш? — спрашивает Валерка, улыбаясь во весь рот медвежьими зубами.

— Бесподобно, Валер, — говорю я, он не сопротивляется, сияя еще больше. А я думаю, что сегодня ночью он будет, как припадочный, глотать циклодол, чтобы ввести себя в известное одному ему состояние. Чтобы забыть и ни о чем не думать. Ему ведь тоже совсем неважно здесь, такому здоровому, сильному мужику...

Венька снова садится за рояль, и начинаются танцы. Кавалеры приглашают дам. Какое же это грустное зрелище! Затянутые кушаками застиранные халаты с расплывшимися казенными печатями танцуют с короткими, нескладными и рваными пижамами, те робко ведут свои халаты, внутри которых то взад, то вперед болтаются их дамы. Мне совсем не смешно, как танцуют психи. Мне абсолютно не смешно. Мне даже хочется плакать, и я вовсе не понимаю, что могло быть смешного до этого? Что? Дурак я все-таки!

16

Пары медленно двигаются в такт и не в такт Венькиной прекрасной музыке. Я смотрю по сторонам; привычка, знаете ли, такая — озираясь, оглядываться. Почти никто не остался сидеть, все танцуют либо пытаются танцевать. Я замечаю одиноко сидящую фигуру в самом углу, за стульями, куда и свет едва проникает. Мне кажется она прекрасной. Или это видение? Психиатрический мираж: откуда здесь взяться прекрасному? Я, знаете, не скромный от природы, нахал, подхожу и сажусь рядом. Она никак не реагирует на мое приближение, вернее, просто продолжает следить за танцующими.

— Как вас зовут?

— Ольга.

— Княжеское имя.

— Вы издеваетесь?

— Нет, — отвечаю, — я серьезно. В древней Руси была княгиня Ольга. Слышали про такую?

— Вроде.

Однако, немногословная девушка. Но так как я бесцеремонный нахал, то, повернувшись, начинаю рассматривать ее лицо. Ей, видимо, это глубоко безразлично. Лицо ее красиво и очень, я даже не ожидал. Овал соткан из тончайшего волокна и напоминает лучшее, что было в женских лицах в конце XIX века на Руси. Она, видимо, не знает цены ни своему лицу, ни его выражению. На лице ее застыло что-то неповторимое — красота с грустью, и боль, и страдание, и непонятно откуда — неживое отношение к живому окружающему, и пелена какой-то нездешности, обособленности, и что-то другое.

Меня начинает раздражать ее безразличие — не к жизни, а ко мне. А когда я раздражен, я уже совсем невыносим.

— А какая ваша любимая книжка?

— Кнут Гамсун (о, девочка, даже Гамсуна знает!).

— А какой ваш любимый художник?

— Босх (это надо же!).

— А кто ваш любимый композитор?

— Бородин, — отвечает она.

И тут она раскрывает рот и спрашивает:

— А вы очень хотите мне понравиться?

— А... — осекаюсь я.

И здесь, впервые, ее улыбка скользит по точеным, как у Афродиты, устам. Которые мне сразу же хочется поцеловать, сию же минуту. Ну, не дурак разве?

— А вот, знаете, я люблю Чуковского и Маршака.

— Да, они очень хорошие детские писатели, — соглашается она.

— И не только детские, но и взрослые.

— Да, пожалуй, вы правы, — говорит она после некоторого раздумья.

— А вы знаете, что "Тихий Дон" написал не Шолохов?

— А это мне абсолютно не интересно, — отвечает она.

— Как так? — удивляюсь я, — великий советский писатель!

Но она молчит, а поток моей эрудиции, кажется, иссяк, подойдя к концу.

— Ну, а кто такой Лермонтов вы, конечно, слышали?

— Да.

— Ну и, конечно, вы не слышали, но вам это очень интересно, что мое любимое произведение — "Герой нашего времени"?

— Да, это мне очень интересно,— ответила она, даже не посмотрев на меня.

— А какое еще одно, я имею в виду, из классики?

— "Игрок" Достоевского.

— Как?.. — я прямо-таки обалдел. — Откуда вы знаете?

— Да так, есть у вас что-то общее с Алексеем. И, поди, доберись вы до рулетки, похлеще бы делов натворили.

Вот это да! И тут я смотрю на нее внимательней, а этого мне делать не надо было, а выровнять положение и вернуть былую самоуверенность.

— Нет, я имею в виду, откуда вы, вообще, знаете об Алексее, "Игроке" и прочем? Его, вроде, в школе не проходят? (Ну, и заноза же я!)

— Да так, совсем случайно, — отвечает она, — я учусь на третьем курсе Литературного института.

— Кг... м, ага, — нечленораздельно бормочу я.

— Это ничего, — мягко улыбается она, — вы не смущайтесь.

— Э-э... простите меня, я не знал, — извинения и признания собственного поражения из меня всегда выдавливаются с трудом. Она поворачивается ко мне и впервые долго, не мигая, смотрит на меня.

— Вы, оказывается, умеете извиняться, не думала.

— Да, я, оказывается, умею. Я, оказывается, дурак вообще. Но это чисто возрастное, думаю, со временем пройдет.

Она улыбается и произносит вдруг, совсем неожиданно:

— Не надо так говорить о себе, вы мне нравитесь.

Как это так? Все это скрывают обычно, таят, умалчивают, как дураки. А здесь, надо ж, какие идиотские вопросы я ей задавал. И вдруг я, не ожидая этого сам от себя, говорю:

— Благодарю вас.

— Не за что, — с улыбкой отвечает она, — я только сказала то, что есть.

— И вы всегда так, сразу? — вот кретин, не мог придумать ничего другого.

— Да. Я не умею постепенно, — отвечает она.

— Как вас зовут? — спрашиваю я.

— Ольга, я вам уже говорила.

— Ах, да, — вскидываюсь я, — простите. Совсем одурел. Вообще, у меня уникальная память. Я даже помню, как папа меня в шесть лет кочергой бил за то, что я путал буквы "б" и "в", когда изучал азбуку. Приятные воспоминания.

Она молчит.

— Вы всегда такая неразговорчивая?

— Нет, но я не знаю, как вас зовут, и не могу же я к вам обращаться без имени. Или вы считаете, что это не нужная формальность?

— Ах, да, — Саша.

— А у вас три имени? Ах, Да и Саша. — Теперь мы улыбаемся вместе. До чего у нее приятная улыбка!

— Я не думал, что вы умеете шутить, — говорю я.

— Это случается редко, очень редко, — говорит она. Грусть снова появляется на ее лице.

— Как вы попали сюда?

— Я ожидала этого вопроса и не хотела его. Не люблю рассказывать о себе. Больше люблю слушать.

— Да вы же будущая писательница, ведун человеческих душ.

— Вернее, бывшая.

— Как это? — не понимаю я.

— Меня исключили из института. За творческую несостоятельность, так это там называется.

— Когда это случилось?

— Месяц назад.

— А давно вы здесь?

— Около месяца.

— Совпадает. Неужели из-за этого?

— Это не важно, и вам это неинтересно.

— Не переживайте, я слышал, что Евтушенко и Ахмадулину тоже в свое время исключили за бесталанность.

— Они для меня не пример.

— Но, все-таки, может, расскажете, — пытаюсь я шутить, — за что таких красивых девушек исключают из Литинститута? Она не улыбается.

— Обычно я предпочитаю молчать. Пусть все будет, как будет, и воспринимается, как есть. Но, коли мы в ненормальном мире, поступлю и я один раз по-ненормальному: расскажу. Да если честно, мне хочется рассказать... Знаете ли вы, что у нас в институте существуют творческие семинары: прозы, драмы, поэзии, критики. Имеете ли вы представление о Литературном институте? Впрочем, это не имеет значения, — продолжает она. — Так вот, мы обязаны посещать один из этих семинаров, которые ведут известные поэты, прозаики, драматурги. И в ходе занятий представлять свои творческие работы.

— А что вы представляли? — не утерпел я.

— Прозу. В этом году я посещала семинар по прозе. Вел его, вы знаете такого писателя, — и она назвала мне фамилию, которая мне ни о чем не говорила. — Он написал когда-то известные две книги "Соленая падь" и "На Иртыше". А впрочем, это и неважно. Современных авторов сейчас мало кто знает.

Она помолчала, словно вспоминая что-то.

— Вы, наверно, знаете, что у нас полно в институте стукачей, больше, чем в любом другом, разве что МГУ и МИМО могут с нами сравниться. А институт и группы маленькие, кто и что сказал, сразу все узнают. А я всю жизнь говорила то, что думаю. Вот, как-то, что вы мне нравитесь... — Она улыбнулась. Но не мне, а словно бы себе самой. — Мне говорили, что у ректора лежат уже две докладные на меня, о ком что я думаю. Бог мой, и это третья четверть XX столетия! Сначала он с этими записками ничего не делал, все-таки из старой интеллигенции, знал Паустовского, Олешу, Бабея.

Но он ведь тоже лицо подневольное. Как говорили у нас в институте: все мы под КГБ ходим. И однажды этот самый писатель, который вел у нас семинар и которому до этого очень нравились мои рассказы, сказал, что этот, мол, — очень слабый, переделайте и принесите. Я принесла другой, но он сказал: опять слабый, и добавил — творчески слабый. Смутная догадка мелькнула у меня, знаете, человек всегда предполагает худшее. Но я не была уверена, и она исчезла. Хотя у нас всегда так: когда надо отчислить кого-то, договариваются с каким-нибудь преподавателем, вернее — указывают ему, и он не аттестовывает раз, два, заваливает на зачете или экзамене, и тебя отчисляют. И, как правило, для этой цели используют творческие семинары, где определенных канонов нет, а только личное восприятие преподавателя. Но я не понимала, зачем ему, маститому, издавшему десяток книг, находящемуся в фаворе у партии и правительства, идти на это. Делами этими чаще занимаются неустоявшиеся писатели, которые вот так пытаются пробить свою новую книгу, увеличить тираж вышедшей или устроить ее переиздание. Следующий мой рассказ, который я принесла ему, назывался "У попа была собака", — это было шуточное название, где я описывала учителя и его ученицу, и его отношение к ней, и что из этого вышло. Это не был намек, я просто написала, о чем думала. Право каждого автора. Но не у нас. Я не была аттестована им за творческую неуспеваемость, не допущена к сессии и в результате — исключена из института. То, что произошло в рассказе, произошло и в жизни. А живу я только с мамой, отец был расстрелян в 52-ом году, он был генерал-лейтенант пехотных войск и прошел всю войну с солдатами рядом, от московской кольцевой дороги до берлинского Рейхстага. Это было "последнее спасибо и прощай" Сталина военным людям, спасшим Россию от тотального рабства. Через несколько месяцев он умер. Я одна у мамы, и вся ее надежда и свет, как она считает. Меня потрясло это исключение до глубины души, не потому, что я держалась за этот институт, гадюшник сплетен и злословия, просто сам акт несправедливости. Я не представляла, что я скажу маме.

И этот человек учил меня, как писать. И книги этого человека люди читали и читают. В тот вечер я пришла домой поздно. Мама сидела в кабинете и работала, она биолог. Я вошла в ванную, закрыла ее, села на край и папиной фронтальной бритвой, всегда хранящейся очень отточенной у нас, вскрыла себе вены на обеих руках... Теперь я понимаю, возможно, это было глупо. Но у меня не поднялись бы глаза посмотреть маме в лицо, ведь я у нее одна. Мы не ценим родителей, а они боготворят нас, незаслуженно. И ценность их, к несчастью, мы понимаем слишком поздно. Но мама, видимо, что-то почувствовала, так как слышала, что хлопнула входная дверь, а я не вошла, чтоб сказать "доброй вечер". Она подошла к ванной и окликнула меня, я, естественно, не отозвалась. А кровь капала и капала в теплую воду, и белая ванна становилась светло-красной, буро-красной и темнела все больше и больше. А мне было безразлично смотреть на это. Мама сорвала дверь и на своих руках вынесла меня из ванной, быстро перетянула мне жгутом руки, перевязав бинтом запястья, и ни тогда, ни после не сказала мне ни единого слова. Извещение о том, что я отчислена из института, она получила за пять дней до того, как узнала я...

Я оттянул рукав пижамы на одной руке, потом на другой.

— Одинаково?

— Да, — грустно улыбнулась она.

— Все мы делаем глупости, а потом каемся или не каемся в них. — Она повернулась ко мне и снова долго смотрела на меня. Потом провела пальцем по кисти моей руки с четырьмя шрамами на ней. Глубоко вздохнула и отвернулась далеко в сторону, чтобы не было видно ее лица, совсем.

— А как же ты сюда попала?

— Тебе хочется услышать окончание? Бойтесь, что я поправлюсь вам, а окажусь сумасшедшей?

Я резко отдернул руку вниз, закрывая рукав пижамы, на которой еще находились ее пальцы.

— Извини, я не хотела. А ты мог бы, правда, полюбить сумасшедшую? (Мы переходили на "вы" и на "ты" и не замечали этого.)

Я, насупившись, молчал. Венька играет и играет, а пары медленно танцуют... Изредка меняясь меж собой.

— Мог ли? Я не думал над этим, наверное, — увернулся я.

— Да, а окончание было очень короткое. Я поклялась себе больше никогда этого не делать. Именно из-за мамы. Как-то раз я поехала к девочкам в общежитие нашего института, в гости. И до того на меня все это там навалилось, до того остро почувствовалось и как-то очень больно, резко и неожиданно, что мы с одной девочкой взяли и прыгнули в пролет с четвертого этажа. А на втором этаже сетка была натянута. Стесала только бедро себе сильно и все. Какой-то дурак, комендант из студентов, вызвал скорую помощь, объяснив, в чем дело. Приехала психиатричка, вместо скорой и увезла меня сюда. Мама пока в Германии в трехмесячной командировке, и, я надеюсь, не узнает ничего, я успею выйти отсюда до ее приезда. А привозит и отправляет мои письма, и следит за нашей квартирой моя подруга.

— А она-то чего прыгала?

— Просто так, из солидарности. Хотела выразить протест против моего исключения. Но и ее вот-вот должны отчислить. Тоже за "творческую неуспеваемость", хотя она — самая талантливая девочка на факультете.

Она закончила рассказывать, и видно было, что сама устала от этого длинного своего рассказа.

А Венька все играл, а пары танцевали. Кто-то потушил лампу, и от этого стало уютнее. Она дышала, и грудь ее высоко вздымалась. У нее была прекрасная грудь. И я вдруг подумал: о ужас, этой груди мог никто никогда не коснуться, если бы она разбилась или зарезалась. Вечно дурные мысли мне в голову лезут. Слава Богу, она не догадывается. Я чувствовал, что это становится неприличным, но никак не мог оторвать взгляда от ее груди. И в это мгновение она повернулась ко мне:

— Вы всегда так пристально рассматриваете то, что сугубо принадлежит женщине?

— Э-э, не-ет, то есть...

При виде моей физиономии она рассмеялась.

— Вы настроили меня на серьезный лад, — сказал я.

— Вот я и пошутила, чтобы вы не настраивались. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне.

— А я хочу, — твердо ответил я.

Она посмотрела на меня (какой у нее притягивающий взгляд), отвела прядь волос с лица и сказала:

— А хочешь, я буду твоей женой?

Я непонимающе смотрел на нее.

— Лагерной, то есть больничной. Ну, я шучу, не обращай внимания.

— А... (только тут я понимаю) — хочу. (Конечно, я хочу!) Но она уже не слышит, то ли не обращает внимания на мои слова и встает.

— К сожалению, мне пора.

И только тут я понял, что все кончилось. Венька задвигает стул под пианино, и цепочка женщин в серых халатах — их снова пересчитывает санитар — тянется по очереди к выходу. Она выходит последней. А перед этим она долго смотрит на меня, и ее губы, кажется, что-то шепчут.

*(Продолжение в следующем номере.)*

*Повесть публикуется в сокращенном варианте.*



Александр ТУЧКОВ

## ТРИ РАССКАЗА

### ПАЛАТИНСКИЙ МОСТ

Каждый побывавший в Риме видел, конечно, остатки древнего моста, что напротив островка с церковкой святого Бартоломео и неподалеку от круглого храма Весты.

Ныне новый, мост, продиктовав свое направление, пересекает Тибр рядом. Мчит мимо, равнодушный и бетонный. Мимо бывшего великого палатинского моста.

Конечно же, всякий знает эти руины, ведь они являются достопримечательностью и занесены во все каталоги и путеводители. Имеются, видимо, сведения о них и в исторических источниках. Возможно, кое-какие детали отыскивали и археологи. Однако, это и все.

И только мы с Луиджи знаем тайну древнего моста.

Я давно уже заметил этого человека. И сначала не обратил внимания на него, а вернее, не обратил такого пристального внимания. Возможно, это был турист, а может быть, бродяга. Неизвестно. Да и не интересно было. Привлекло мое внимание другое. Встретивши его несколько раз здесь, я заме-

тил, что он не просто прогуливается либо стоит, опершись о перила в позе скучающего, но пристально всматривается в руины моста. Упорно всматривается. Иногда он взглядывал в небо либо вообще вокруг, как бы в атмосферу взглядывал, будто ожидая чего-то. Иногда он перебирался на островок, что напротив моста...

Впрочем, всего этого могло и не быть. Просто полдень и зной, и праздный итальянец, шляющийся по набережной.

Надо признаться, заинтересованность этим парнем носила у меня характер, так сказать, легкой ревности. Потому как я давно уже привык к своему единовластию и единовланию этим уснувшим миром. Миром, который всегда был таким и лишь в какие-то несколько последних столетий отвратительно преобразился. А до этого был таким всегда. Может, с неандертальских времен был. С тех времен, когда некий кроманьонец либо еще кто-нибудь пещерный, живя на берегу залива, через многие тысячелетия названного Неаполитанским, глядя на гору, через многие тысячелетия названную Везувием, думал, глядя на все это. В тихий летний день думал: "То, что было раньше, это предания старейшин. То, что будет потом, предания моих потомков, а сейчас зной, и верещание цикад, и родные пещеры, и тишина голубеющего залива. Тишина, прерываемая далеким ворчанием огнедышащей горы. И всегда так было и будет: зной, тишина, залив и невнятный, далекий гул горы..."

Некий помпеец, глядя в перспективы улицы в полуденный притихший час, думал: "То, что было раньше, рассказы историков. То, что будет потом, тоже что-то будет, по воле богов. А теперь — зной, и верещание цикад, и полуденно уснувшая улица. И все затаившееся от жары, в полумраке домов затаившееся. И голубеющий залив, и придымленный, взметнувшийся Везувий. И всегда так было и будет: зной, тишина, перспектива улицы с нищим в углу. С распадающимся в тени на обломки лохмотьев нищим..."

Некий турист, приехавший в Неаполь и бродящий по развалинам Помпеи в полуденный час, думает: "То, что было раньше, это — Плутарх, Тацит, это — руины, старинные книги

переводов с латинского. То же, что будет потом, может, и ничего не будет. А пока жар, и треск цикад, и испепеленное зноем перспективы руин. Давно уснувших. В какой-то невдомый час, давно. И собака на ступенях, изнемогая от жары, как бы брошенная пятнистая тряпка. И туристы в белых панاماх, заглатывающие мороженое под тентами. И там, в прохладе музея, экспонаты. Отчужденно, поверх головы посетителей, смотрящие экспонаты. И подернутый дымкой Везувий. И посверкивающий голубой залив с блистательным наименованием — Неаполитанский..."

Да, всегда было так. Прекрасное вечно. Вещи Праксителя и Рембрандта, Гомера и Пикассо были всегда, задолго до них самих. С начала сотворения мира были. Пракситель и Рембрандт, Гомер и Пикассо лишь раскрыли глаза других на это прекрасное.

**"И высочайший гений не прибавит  
единой мысли к тем, что мрамор сам  
таит в избытке..."**

**Микеланджело**

"Лицо истории, — говорят, и добавляют, — Бесстрастное".  
Бесстрастное ли лицо?

"Доблесть, личность, добро или зло" — говорят про человека. Так ли это?

Не доблесть или личность человек, не добро или зло. Лишь отрезок времени. Момент. Веспасиан, к примеру. Веспасиан — это не реатинские поместья, где в патриархальной простоте пребывал он. Пребывали в ней и другие. Веспасиан — это не спокойствие и мудрость после смутных времен Вителлия. Веспасиан — это момент, тот, когда обернулся он. В пыли и грохоте штурма обернулся. Среди криков боевых флейт. В момент гибели Иудеи. В момент осады Иерусалима... В момент...

Момент — суть истории. Лицо истории. Для нас лишь бесстрастное, для нас, мотыльково-мгновенно живущих и думающих, что история это крушения империй или деяния вождей. Это наша история, составленная такими же мотыльково живущими. Настоящая же — она необозримым и единым

колоссом движется, в котором нет ни прошедшего, ни будущего. Но нам, мгновенно возникающим и гаснущим, не заметить ни ее единства, ни ее движения. Нам кажется неподвижным, бесстрастным ее лицо. Лицо истории. Исполненное страстей лицо...

Короче говоря, я подошел к нему в один из дней. И как же не подойти было к этому взломщику, как казалось мне, к этому наводчику, высматривающему что-то у моего дома, слоняющемуся под моими окнами.

День был тих и вычищен солнцем до блеска. Как бы насыщенный сухим золотым электричеством день. Зноя, однако, не было. Камень был горяч, листва свежа. И легкий солнечный жар осенял все. Без дымки и течений горизонтов в мареве. Даже звуки города были приглушены чем-то таинственным, опустившимся из стратосфер.

Я оперся о перила моста рядом с этим человеком. Вытащил пачку сигарет и молча протянул ему. Он молча взял одну. Не промолвив ни слова, мы стали курить. Голубой сигаретный дым нежными волокнами вплетался в золото воздуха. Голубое и золото, цвета храмовых занавесей...

"Как бы проникнуть на эту штуку?" — кивнул я в сторону руин. Скорее даже себя спросил, чем обратился с вопросом.

"Очень просто, вплавь, если полиции не боитесь" — последовал краткий ответ. И мы продолжали молчать.

Снова пытаюсь завязать разговор, я осторожно начал: "Вы точно ответили, приятель. Но я не о том. Я о другом проникновении. Сейчас поясню. Вы, конечно, видите древний торец на прекрасной спине моста. И траву меж камнями торца, и цветы, выросшие в рассевшейся балюстраде. Отсюда ясно различима даже пыльца их. Ясно различимы даже те места, где она сметена. Как бы одеждami прошедшего сметена, только что и таинственно прошедшего. И шум шагов которого еще не утих... И совершенная по гармонии и отделенности ото всего окружающего жизнь на остатках этого моста.

А сами цветы и травы? Посторонний, конечно же, произнесет затертую фразу о перенесенных ветром семенах, о пыльце, перенесенной пчелой... Я же утверждаю, что это прямые по-

томки тех трав и цветов, что произрастали на нем и тогда. Более того, я не уверен в том, что они не рассыпятся в прах, если их вынести оттуда, за пределы их мира. Как рассыпаются боевые колесницы древних, извлеченные из усыпальниц..."

Я смолк и глянул на соседа. И вот, будто бы гнев мелькнул в его глазах. А может, это просто горячность взгляда, свойственная глазам итальянца?

Он вызывающе ответил мне, небрежно бросил: "Таких мест, синьор иностранец, у нас, в нашем Риме — весь Рим. И все дышит здесь тем, про что вы так вдохновенно цитировали. И всюду травы и цветы..."

И снова мне почудилось, вот как бы ревность в звуке его голоса. Но может, просто южный темперамент?

И потому я осторожно продолжал: "Мне хотелось бы уточнить сказанное. Все верно, все дышит здесь тем, о чем я упомянул и по поводу чего вы так ловко пошутили. Но, простите меня, не все здесь дышит той, непонятно продолжающейся, ушедшей в невероятные глубины жизнью. Для тех, кому все равно, эти камни, конечно, мертвы. Но не для меня. Иные из них действительно мертвы, другие продолжают жить. И это вовсе не зависит от их возраста. Бесчисленные и таинственные причины есть следствия их жизни или смерти. Это как картина. Независимо от красоты ее или славы у людей, картина может быть мертва с рождения, еще только зачатая художником может быть мертва. Другая же живет, и мало того, что живет, преобразуется, полностью подчиняясь законам всего живущего, то есть рождается, расцветает, дряхлеет. В замысле она одна, в работе другая, в завершении третья. И после завершения она продолжает жить и изменяться. Я не о физических или химических изменениях, а о тех необъяснимых, которым поражается сам автор картины, когда видит ее через многие годы. Когда видит, как то, что он считал только лишь делом своих рук и воображения, теперь живет само по себе, развивается самостоятельно, таинственно движется во времени уже независимо от его воли. И так жизнь картины продолжается вплоть до физического разрушения от старости. Но и на этом не конец. Иные живут и после, в восхвалениях ли поэтов

древности, в описаниях ли историков. Снабженные чудовищной и диковинной живучестью, живут.

Приведу в пример пару мест, поразивших меня необычайной сосредоточенностью такого рода жизни. Я не буду говорить об истлевшем костяке Колизея. Хотя и в нем, начисто ограбленном, еще угадываются некие сверкающие звуковые обломки от бывшего великолепным, как и сам Колизей, восклицания: "Идущие на смерть приветствуют тебя. Цезарь!.."

Я не буду говорить также и о многочисленных христианских местах, прелесть коих для меня только в том, что это бывшие античные места, лишь изуродованные христианскими лозунгами и транспарантами.

О средневековье мне и вовсе не хочется вспоминать. А хочу я взять, к примеру, Палатин. Да, именно Палатин, не Форум, лежащие внизу, подобно гальванизированным трупам. Искусственно расставленные колонны, обломки на местах, где они якобы стояли... Но Палатин.

Я поднимаюсь по широким отлогим лестницам, я вхожу в его среду. И меня встречает, нет, меня осеняет солнце, другое солнце. Шум сосен и платанов, как бы морской шум. И кисея птичьего звона на их ветвях, под сводами их. Весь Палатин, как комната покойного, зачехлен. Тяжелыми чехлами дерна и мха покрыт, с одного его края, что обрывается гигантской стеной в остатки Форумов, до другого края, спускающегося циклопическими руинами к Виа Ди Сан Григорио.

Кое-где из-под зачехленности выступают стены, колонны, либо гигантские и глубокие залы зияют провалами. И в них жизнь. Потому что они не разрушены, а скорее как бы недостроены. Вот колонна лежит, будто для установки приготовленная. Вот жернова, а вот древняя кирка валяется. И чуть ли не сандалии, чуть ли не амфорка с вином в углу, оставленные строителями. Может, ушедшими на обед? Может, на латинский обеденный перерыв ушедшими?

Я всматриваюсь в эти провалы, я вслушиваюсь в глухие и черные дыры подземелий, я прикипаю ухом к спине Палатина. И отчетливо улавливаю звучание флейт и цитр, слышу пение,

звон цимбал, грохот подкованных калиг, рев толпы... Вроде бы шум пиршества слышу...

И вы знаете, здесь произошло кое-что со мной, давшее мне повод думать о благосклонности божества ко мне. Дело в том, что на заборе, огораживающем левую часть Палатина, это если стоять лицом к цирку Массимо, была предупреждающая надпись: "Осторожно, злая собака". Я не раз бывал здесь и не слышал лая, и не видел никакой собаки. Потому я решил, что надпись эта лишь для устрашения туристов и влюбленных парочек. Я продолжал свои прогулки за заперченность, углубляясь с каждым разом все дальше.

В одну из них я забрался довольно далеко. Вход позади, справа — строевые сосны среди руин и руины среди строевых сосен. А слева — небольшое средневековое строение. По времени лишь средневековое, но латинское по своей сути, по суровой гармонии римских пропорций. Выродившийся потомок, но сохранивший еще фамильные черты предков...

И в этот момент я услышал лай. Лай большого и свирепого пса. Приближающийся лай. Пес мчал ко мне огромными скачками, преодолевая неровности ландшафта. Вход был далеко, поблизости ни одного дерева. Пренеприятное положение. "Сейчас, — думал я, — он охладит мой романтический пыл". ...Короче, засомневался, как и всякий смертный, усомнился в божественном. Однако, божество было снисходительно ко мне. Потому что пес внезапно остановился, сразу, будто бы властно окликнутый. И рыча нутряным, львиным рыком, повернул обратно и скрылся среди камней.

Прекрасный повод для вас еще раз иронизировать надо мной, но я не сомневаюсь в том, что это была как бы своего рода санкция божества, августейшее разрешение мне...

А возьмите, к примеру, Аппиеву дорогу. И теснины ее стен, сросшиеся меж собой от древности. Как бы покрытые седой паутиной, увитые плющом, осененные старыми деревьями. И шум воды в маленьких запрудах, звон сандалий прошедшего только что путника, стрекот цикад...

И представьте себе, рев авто, полирующих латинскую клад-

ку дороги, не нарушает святой тишины этого места. Промчит шквал цветных автомобилей с кудрявыми итальянцами за рулем, мелькнет чем-то несерьезным, спущенным с цепи зеленым светофором в конце дороги, и снова вода тишины заполняет все до трещинки..."

Я опять глянул на собеседника, но он лишь отрывисто бросил: "Так в чем же дело? И идите себе на Аппиеву дорогу..."

И вот уже настоящая неприязнь в его глазах. Я же, возможно ласковее, попросил: "Не сердитесь на меня за то, что досаждаю вам разговорами. Но сдаётся мне, что мы одной породы птицы... Я уважаю эту вашу ревность, потому что из ревнивцев тоже. Заодно и объясню, почему застрял здесь, а не пошел на Аппиеву дорогу. Дело в том, что держит меня этот мост некоей своей изолированностью. Не духовной, не само собой разумеющейся духовной, а, так сказать, материальной, физической изолированностью. Прошу заметить, что устоят остатки этого моста омывают воды Тибра. Сам мост не соединен с берегом. Ни единого провода нет над ним, ни единый кабель не идет к нему. И на спине его столб воздуха, столб атмосферы, неизвестно где кончающийся. Вы не находите это интересным? Не наводит ли все это на некоторые размышления вас? А взять, к примеру..."

Тут мой итальянец раскашлялся внезапно, задохнулся дымом, затоптал сигарету. Лицо его смягчилось, и даже вроде бы тень смущения пролетела по нему.

"Эй вы, кто бы вы ни были, — сказал он, — давайте-ка зайдем в пиццерию, здесь на углу. Я, пожалуй, расскажу вам кое-что. Вы поверите..."

Мы вошли в пиццерию, пустую и прохладную. Взяли еды. Обозначилась тишина — та, что предшествует важному разговору...

Итальянец сломал сигарету в пепельнице и так начал свой рассказ: "Зовут меня Луиджи, уважаемый синьор, и, как это ни банально, я, конечно же, отец многочисленного семейства. Впрочем, все это настолько скучно, привычно скучно, что и не стоит об этом долго распространяться. Все это вы можете

увидеть в любом неореалистическом фильме о жизни итальянцев, все эти страсти, слезы, крики, кучу детей. Всю эту жизнь на фоне развешанного поперек улицы белья, которым там любуются заезжие леди и джентльмены. Имеется и жена, давно уже вышедшая из возраста тех прелестных итальянских девочек и ныне солидная усатая дама. И ко всему, чтобы жизнь раем не казалась, теща. Классический образец тещи, ненавидящей меня по тем же классическим причинам. "Моя бедная дочка, почему она не послушала меня тогда и не вышла за Джузеппе. Он до сих пор здоровается со мной при встречах, солидный такой, приличный господин. Он открыл уже второй магазин на Виа Венето..." — причитала она...

Я, уважаемый синьор, человек не робкий, но до крайности не терплю ссор, криков и потому сторонюсь всяческих скандалов. Я смиренно выполнял все, с чем приставала ко мне старая ведьма, лишь бы избавиться от нее на пару следующих часов.

Началось все это прошлой осенью, когда у нас, на Трастевери, как, впрочем, и каждую осень, были праздники местных святых. Что такое итальянские праздники? Это много чувств, музыки, веселья и мало денег. Это карнавал, гирлянды фонариков, целые улицы из лотков, киосков, павильонов, торгующих всем, от сладостей до японских телевизоров. И тучи туристов, раскупающих все это. Во всех бесчисленных улочках и переулках — накрытые столы и пирующие люди. И на площади, возле Санта Мария де Трастевери, представление.

И в моем распахнутом настезь доме, как и у всех в этом районе, кипело празднество в эти дни. Приходили и уходили многочисленная родня, друзья, знакомые, знакомые знакомых. Вино, еда, радостные лица. И все было бы прекрасно, если бы не теща. Для нее же не было праздников, она никогда не отдыхала от своего брюзжания. Нет, я вовсе не был сердит. Как можно сердиться в такие дни? Я только что диву давался, глядя на старуху. "Да итальянка ли она?" — спрашивал я себя. Я сказал ей об этом. Разгоряченный вином, вспылал. Все сказал, что накопилось. И в ответ, конечно, был обвинен во всех смертных грехах, завален кучей советов и наставлений.

Как и прежде. Советов о том, как мне, наконец, стать нормальным, уважаемым человеком, как облегчить жизнь своей бедной жене, которая в последние годы раздалась в хорошего циркового атлета. И жена, и ее родственники встали на сторону тещи, когда я пытался скромно намекнуть ей на то, что именно на мои средства, средства никчемного человека, она имеет возможность жить и целыми днями судачить внизу, с такими же старыми сплетницами...

Нет, нет, не было никакого страшного скандала. Да я и не решился бы на него. Так, вино в голову ударило. Более того, я знал, что это одна из очередных склок, которые были и будут. И что это есть часть моей жизни, как еженедельное хождение в церковь, работа, праздники и текущий рядом Тибр.

Однако, что-то внутри меня вдруг пресеклось. Вроде, как перескакивает стрелка на больших уличных часах. Не движется плавно в следующее деление, но перескакивает. И впервые тогда я почувствовал во всем этом какое-то непонятное, неподвластное мне вмешательство...

Короче, я молча встал и вышел, отметив на ходу, что все было как бы смущены таким оборотом дела, хотя вдогонку мне и неслись проклятия.

Я зашагал по своей улице, свернул на Трастевери, кипящую многолюдством. Миновав ее, я вскоре уже был на берегу Тибра. Шум праздника понемногу утих позади, а тут была луна, тишь и мутно текущий Тибр. Белым конем в ночи стоял обломок древнего моста. Латинского моста.

Почему я остановился здесь? Не знаю. Тогда я еще не задавал себе этого вопроса. И лишь теперь понял, что отныне я непосредственно в ведении божества, и всякий мой шаг уже не мой, но, так сказать: "Мене, мене, текел, упарсин..." И, как теперь, помню, что не просто остановился, но как бы остановлен был. Тяжелой рукой. Положенной мне на плечо рукой...

От основательно выпитого, ото всего шума и гама захотелось спать. И тут странная мысль посетила меня. "Черт возьми, ясно, конечно, что я не вернусь сегодня домой. И пожалуй, да, пожалуй..." Я быстро спустился по набережной до

этого островка, миновал храмик святого Бартоломео и, крадучись, подошел к воде.

Теперь мост возвышался почти что надо мной. Маячил темным силуэтом. Где-то из-за него, борясь с облаками, вот-вот должна была выкарабкаться луна. Я быстро, стараясь не привлечь внимания, разделся и вошел в воду. Через несколько минут я уже был на осклизлых камнях основания моста. И тишина, необъятная тишина охватила меня, и страннейшее, но сладкое чувство. Чувство узнавания. Не смутного. Но отчетливо-ясного воспоминания. Обо мне, о части меня, бывшей когда-то нищим. Латинским нищим, жившим в украшениях этого моста. Клянусь Гермесом, я вспомнил даже диковинные подробности того, как я убирал веревочную лестницу за собой, забираясь под геральдику моста, где была моя нора. Именно поэтому так ловко, я бы сказал привычно-легко, вскарабкался я по устоям моста, и вот уже на торцевой спине его. Тепло торца, накопленное днем, охватило меня. И звон одинокой цикады, и глухой шум Тибра. И удивительно, но не было сырости, либо обдувания свежестью, вполне естественного с реки, текущей внизу...

Тут же я почувствовал непреодолимую усталость и, свернувшись калачиком в пучке сухой травы, мгновенно уснул...

Сколько я так проспал, не знаю, но проснулся от того, что был день. Солнечный, но страшно туманный день. Полный светящегося золотого тумана. И не солнце, но лишь сторону, где находилось солнце, можно было определить. Меня поразило это явление. Никогда прежде я не видал такого золотого тумана в этих местах. В его свете все кругом было как бы изделом из бронзы: и травы, и балюстрада, и торец, и каждый цветок. И полумрак, сгущавшийся в углах архитектуры моста, в тенях трав, повторял все градации золота, от темного, старого, медно-рыжего, до ослепительно мерцающего.

Потом мне бросилось в глаза то, что трава стала, как бы гуще, и кусты в углу, из трещин в углу. И цветы какие-то другие, невиданные мной до этого. Как же я не заметил их раньше? Видимо, они были скрыты от меня с той точки, откуда я смотрел на руины. И только что я собрался поразить-

ся обнаруженной мною маленькой герме на балюстраде, только собрался поразмыслить над этим... Как вдруг грохот послышался с правой стороны моста, там, за стеной тумана. Звонкий, дробный, сопровождаемый тяжким дыханием. Через мгновение я увидел, как в тумане вылепилось лицо коня, одно, другое, третье. Широко раздутые ноздри и белки глаз, дико косящие в бешеном скачке. Вот показались крутые бока коней... Кони вырвались из медного цвета мглы, сами как бы литые из жарко сияющей меди. Во весь опор они мчали колесницу через мост. Гремела колесница, лопотал плащ колесничего, блистал шлем под перьями... Еще мгновение и я, не успевший отскочить, был сбит и отброшен в сторону..."

Итальянец смолк, а мне тотчас вспомнилась несколько неловкая походка его, и я невольно глянул вниз, под стол, на его ноги. "Да-да, — улыбнулся он — это оно и есть". Он даже встал и сделал пару шагов передо мной. Действительно, он прихрамывал. "В полицейском протоколе, — продолжал он, — написано буквально следующее: "Пострадавший был сбит машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения..." Я, конечно, не захотел прослыть сумасшедшим и потому умолчал обо всем, что произошло. Пусть вдобавок ко всем своим недостаткам я буду еще и пьяницей, пусть выслушаю еще кучу советов своей тещи. Ха, ха, теперь и легион тещ не привел бы меня в уныние, поверите ли? Я находился в каком-то тихом восторге, не уменьшающемся, не увеличивающемся. В состоянии тихого, постоянного восторга.

Да, так я отвлекся, а между тем, колесница — это было еще не все. И так я лежал, отброшенный под самую балюстраду, замерший от боли.

Промчали несколько всадников, и последнее, что я увидел, это — лицо одного из них. Орлиное лицо, со взглядом льва, лицо в броне крепких губ и мощных скул. И роскошь шлема, отягощающая голову. Как бы сверкающая ваза, полная цветов, с бесчисленно-прекрасными деталями шлем. Блеск груди его доспехов. Рука во взмахе и шарахнувшийся конь. Мощный латинский конь, с классическими переплетени-

ями вен на животе... На меня обрушился удар хлыста, и тотчас мрак поглотил все. Потому что острая боль в ноге заставила меня сомкнуть веки.

Когда же я раскрыл их, то увидел, что кругом ночь и луна уже скрылась, и все стало обыденным. Еще не очнувшийся, я лежал, как после прекрасного сна, когда каждый нерв еще живет ощущениями его. И сладкие воспоминания о нем, полном золотого света, вихря колесницы, лица всадника... Я ощущал удивительную легкость, и душа моя освободилась от постоянной горечи.

Но не было ли все это сном? Однако боль в ноге при первой же попытке пошевелиться убедила меня в том, что это не был сон.

Я так боялся за это мое сокровище, что неожиданно обрел недюжинную силу. Искусав в кровь губы, стараясь быть незаметным, я кое-как слез с моста, перебрался через Тибр и уже там, на набережной, обессилев, потерял сознание.

И еще одна маленькая деталь. Как вы думаете, почему исчезло это видение? Не догадываетесь? А ведь недавно говорили так верно, про кабель, про провода. Когда я раскрыл глаза, то увидел мигающие огни самолета, пролетавшего далеко вверху, над мостом, над тем самым столбом атмосферы, про который вы так здорово догадались. Сначала я не придал значения этому. Просто заметил первое, что бросилось в глаза. Потом, позже, дома, я догадался. Я так обрадовался, что, забыв про ногу, вскочил и сломал гипс...

Да, так привезли меня домой уже с лубком на ноге. Еще вчера я заметил бы с удовлетворением некую притихшую растерянность тещи. Жена, так та никогда раньше не была так ласкова и обходительна со мной. Но мне уже было все равно. Потому что чувство было у меня удаляющегося от них, прощальное чувство. Уже как бы пространство пролегло между нами. С каждым днем все увеличивающееся пространство. По воле божества...

С тех пор я сделался еще тише и незаметнее, так как втайне опасался слезки домашних. Долгое время я не мог работать и стал весь свой досуг проводить здесь, уходя из дому

под любыми предложениями. Казалось бы, уже и жизнь наладилась, скоро мне должны были предложить работу полегче и побогаче. И потом раскаяние моих родственников, вполне искреннее... Но, к сожалению, было уже поздно..."

Он смолк, и мы сидели молча. Уже обозначился закат, голубая и оранжевая вода сумерек наполняла пиццерию, как вдруг итальянец заговорил снова. И голос его стал торжественным: "А теперь слушайте внимательно, приятель. Вы, конечно, недопоняли еще, но я раскрою вам и эту тайну. Прислушайтесь, оглядитесь кругом внимательнее. Замечаете, какой день сегодня? А воздух? Золото полудня переменяется на огненную медь вечера. Я ждал этого дня. Долго ждал. Думаете, я просто так простаивал здесь, грустил или вспоминал? Нет. Я подстерегал этот день..."

Я сделал, было, движение, некий порыв, но он остановил меня: "Погодите, не спешите. Тут нужна величайшая осторожность, чтобы ухватить самый, самый этот момент. Не спугнуть его. Тогда все произошло случайно. А попасть в точку случайно легче, чем специально".

Он снова смолк, и мы уже не промолвили ни слова до самого ухода. Мы сидели и курили, пили вино. Долго сидели. Сидели, как бы ожидая сигнала...

И вот он — сигнал. Свет вечера сразу же ушел из помещения пиццерии, будто бы унесли лампу, подхватив со стола. И в дверном проеме, в верхнем левом углу его застрявшим воздушным шариком, возникла луна.

"Пора, — шепнул итальянец, — самое время теперь, луна как раз под брюхом моста..."

Мы поспешно покинули пиццерию, после чего он зашептал мне на ухо: "Теперь крайне осторожно. Там, у мостика, на Сан Бартоломео, мы разойдемся. Вы пойдете до следующего моста, сделаете круг и переберетесь на островок. И спрячьтесь на этом мысочке. Да не оглядывайтесь же так, на нас ведь смотрят. Краем, краем глаза. Вы видите мысок, что прямо напротив руин? Так вот там. И будьте осторожны. Чтобы даже кошка не заметила вас..."

Сказав это, он свернул в узенькую улочку и исчез. Вечер

между тем превратился в лунную ночь. Стараясь быть возможно неприметнее, я спешил по своему пути и через полчаса был уже на мыску. Там ждал меня мой сообщник. Еще некоторое время мы сидели, притаившись и осматриваясь кругом. Но все было спокойно.

"Вы видите, — снова зашептал итальянец, — луна как раз за задними ногами коня-моста. Минут через десять она будет под брюхом его и тогда уже нам не пробраться незамеченными. Чертова луна шпарит, как прожектор..."

Мы разделись, вошли в воду и через несколько минут были на осклизлом мраморе устоев моста. Обтеревшись полотенцем, припасенным предусмотрительным итальянцем, мы оделись и стали карабкаться вверх. Мой приятель, действительно, ловко лазал. Огромной ящерицей скользил среди рельефа украшений. Он помог мне, и вот мы наверху...

И некая дымка уже пролегла, вроде лунного тумана. Вот что-то незаметно изменилось в нем. Как бывает, когда наступают сумерки. Всего несколько черных точек возникают в воздухе, и свет дня светел, как и раньше, но вот что-то не то... Так было и теперь, потому что лунный туман чуть потеплел. Будто несколько капель крови капнуло в него и растворилось, и он еле заметно порыжел. Шло время, и оттуда, где находилась луна, все более явственный проистекал медно-желтый свет. Стремительно размножались золотые точки тумана... Золотистый туман взбухал... Возникла какая-то особая тишина, в которой угадывались намеки на звуки... Что-то вроде цокота копыт, человеческих голосов, бляения коз...

"Это начало, — восторженно шептал мой приятель, — ну-ка, отойдем с дороги, я ведь уже рассказывал". Все быстрее, все стремительнее нагнеталась золотая атмосфера. И вот уже сияние ее, и травы, и цветы, и старенькая герма на балюстраде моста... как вдруг некая гигантская тень мелькнула в золотом воздухе. Будто рука исполина, шарящая впотьмах.

Итальянец побледнел и, стремительно побежав по мосту, прыгнул в золотой туман. Как в воду прыгнул...

Я дернулся было за ним. Прочь от этой тени, уже парящей надо мной, но был крепко схвачен. В одно мгновение мои

руки были вывернуты назад. И только теперь я увидел, как сразу померкло золото тумана, побледнело, стало текущим, лунно-текущим, обычно-лунным...

Огромная тень оказалась пожарной лестницей, протянутой с нового моста. Полицейский, державший меня, кратко приказал: "Взбирайтесь!", указывая на ступеньки лестницы...

Я отделался лишь легким испугом и небольшим штрафом. За нами, а вернее, за Луиджи, следили уже давно. Капитан, арестовавший меня, был уверен в том, что я и Луиджи — одно и то же лицо. Молодой же лейтенантик, его помощник, из себя выходил, доказывая, что я не тот, кого заметили раньше. На что капитан снисходительно отвечал ему: "Это ваше первое дело, лейтенант. Вполне понятно ваше волнение". "Но, господин капитан, на мосту их было двое, я готов поклясться!" — горячился лейтенант.

Капитан хлопал его по плечу и советовал: "Послушайте меня, старика, не напрягайтесь так. Эдак вас не надолго хватит. Работайте спокойно. Разумеется, надо отдавать себя работе всего, но в известных пределах". И, обернувшись ко мне, говорил: "В следующий раз, уважаемый, закажите себе пропуск, это же легко. И, пожалуйста, изучайте себе старину. Но не эдак. Мы ведь вынуждены были вас схватить. Есть соответствующие распоряжения. Кто вас знает? Может, вы бомбу хотите подложить! Мало ли таких молодчиков сейчас бродит? Я могу дать вам отчет о том, сколько всего мы не досчитываемся в сезон туризма. Половину Помпеи у нас растаскали. Вы свободны.

Арриведерчи!"

## РАССКАЗ О НОСТАЛЬГИИ

Не знаю, как это случилось. Или это был вопль тех бесчисленных привычек и воспоминаний, что складываются в ностальгию. Либо это были усилия органов. Никто из нас не знал этого в точности. А кто знал, тот помалкивал.

Во всяком случае, в одно из тишайших летних утр мы возвратились. Все было светло и буднично. Будто бы вырос-

шим среди старых трамвайных путей ромашковым полем было все. Простое и незамысловатое, после неистового Нью-Йорка и непомерной роскоши западных аэропортов.

Был обычный самолет и обычный рейс. Обычными пассажирами мы сошли вместе с другими, ничего не знавшими о том, кто мы.

Как только утих аэродром и мы оказались вне его, нас обступили вещи. Молчаливой толпой окружили. Вы ведь знаете, как обступают человека дорогие сердцу вещи после разлуки.

В пустоте молодого дня стоял пивной ларек, и вокруг него голубело спокойствие. Нас было пятеро. Кто? Очень смутно припоминаю...

Первым же делом мы зашли в столовую, и тотчас наши сердца согрелись. Потому что и нечистота ее, наскоро покрашенная, и убогая еда, и гулкие шумы в недрах кухни — все, все было прикосновением к душе. Появились бутылки дешевого портвейна. Как-то незаметно незнакомые девушки оказались среди нас. То, что незнакомые, это, конечно, всего лишь оборот, потому что это были типично здешние девушки, белоногие, плотные, милые сердцу самки, самки нашей породы. Родные нам из прошлого...

Был разливаем портвейн, были произносимы тосты. "Солнцедар" назывался портвейн. Конечно же, этот "Солнцедар" был гадостью по сравнению с тем, чем мы баловались там, но и дым отечества нам сладок и приятен. Мы с удовольствием болтали, пили и пьянели. С удовольствием, знакомым нам из прошлого. Забыв обо всем... Хотя кое-что и настораживало. Портвейн, к примеру, слишком хороший для такой убогой столовой, необычайная податливость девушек, пустота столовой в этот рабочий, будничный день, а также слишком уж чистые халаты у обслуживающего персонала. Бормотала что-то интуиция, что-то свое, как всегда горячее, но неразборчивое, не умея привести четких и ясных доводов...

Впрочем, длилось все это какое-то мгновение. Веселье продолжалось, и вот мы уже гурьбой поехали в гостиницу, при-

хватив девушек и кучу бутылок. Там мы еще выпили, пошумели и разошлись, наконец, по номерам.

Будто бы желудок, наполнялась моя душа сытостью. Девушка работала на совесть и с живостью. С искренней живостью, даже если это и было по заданию. Она знала свое дело, профессор была, кандидат наук в своей области. Все это выглядело, как хорошая семейная котлета после осточертевших пресных хотдогов. Я лежал, отдыхал и думал: "И не бред ли все это, что было. Не приснилось ли мне все? Просто перепил вчера, и вот приснилось. А на самом деле очередная командировка и очередная подруга в командировке..."

На следующий день, слегка присмирившие от усталости, мы пошли в цирк, куда нас повели девушки.

Было все то же лето и ромашки. И среди одиноких построек (это происходило на окраине города), в колебании полуденного эфира стоял комплекс. Именно лишь так можно было назвать здание цирка. Тут же, кстати, мы вспомнили, что здесь и не бывает иначе. Просто дом, окруженный купами деревьев, либо группа западновидных коттеджей здесь не может появиться. И потому: если это коровники, к примеру, то обязательно животноводческий комплекс, если группа одинаковых безлико-лицых домов, то жилой комплекс. Если же унылое колесо тяжело вращается среди балаганных коробок, — увеселительный комплекс.

Здание было грандиозно по размерам и странно по архитектуре. Как всегда, порыв был великолепен — догнать и перегнать. Но в уже возвысившихся от основания стенах были видны следы титанической схватки различных ведомств. В дальнейшем прослеживании становилось ясно, что где-то чего-то не хватало, где-то кто-то проворовался, приходили и уходили резолюции, и вот, наконец, замкнувшийся в своей крыше комплекс застыл в некоей диковинной архитектуре. Архитектуре, которая станет потом предметом споров и исследований. Еще не висели афиши. Были редкие люди и тишина, с архитектурных проектов тишина, со стереоскопическими перспективами и точечками-людьми.

Мы гурьбой осматривали здание, первые витрины и сувени-

ры в них. Многочисленные голые мужчины перековывали мечи на орала, бесконечные ряды Чайковских склонили головы в задумчивости. Повинуясь административной команде, вздыбились ряды "Медных (из нержавеющей стали) всадников".

Сморенные вином и любовью, мы прилегли в траве под стеной в ожидании начала представления. Гоняли мимо грузовики, ходили люди, хлопали двери, запальчиво выкрикивал лозунги репродуктор на стене. Высоко вверху, на шпиле здания, лопотал стяг, как рассерженный немой лопотал...

И в полудреме я увидел вдруг одного своего старого приятеля, жившего здесь всегда. Одного из тех, кто не мог уехать и лишь мечтал об этом. Страстно, по-детски, перед сном мечтал.

Тотчас же, охваченный стыдом, я прижался лицом к земле. Я затаился, стих, прикидываясь спящим.

Приятель долго топтался у витрины, бормотал что-то, звенел мелочью в кармане. Приятель медленной щепкой, цепляющейся краями, уплыл по течению будней.

Я поднял голову, тяжело вздохнул: "Позор, не выдержал. Ты, представитель всех нас, тех, кто не смог уехать. Ты, живший там, где мы лишь мечтали побывать. Как грезил ты о пасмурном, тишайшем дне. Дне, заброшенном афишами и бумагой. Дне, в который мы сошли на берег где-нибудь в Канаде, дне, который был волшебным, ибо то, о чем мечтали, исполнилось..."

Так говорила со мной тень приятеля, так выговаривала она мне. Но как объяснить им все это? Как?

Мои сотрапезники уже вошли внутрь здания, откуда был слышен зарождающийся гул. Гул огромного зрительного зала, наполняющегося людьми. Я же медлил что-то у одной из витрин...

Как вдруг один из сидевших за витриной (это было кафе) обернулся ко мне и улыбнулся. И я с ужасом узнал ее, эту улыбку. Ведомственная и жестокая, она была одновременно и отеческая. Отеческой была улыбка, возвращенная десятилетиями заседаний и голосований. Она как бы говорила мне: "Ну что же, не мог вдали от Родины? То-то..."

Я рванулся, было, я побежал, было, от витрины и вдоль нее. Прочь от витрины, где была выставлена эта страшная улыбка.. Но столкнулся лицом к лицу с двумя милиционерами, бывшими наготове. И как неподвластное испугавшемуся падение челюсти, так выскочило из меня жалкое: "За что?" Неподвластное.

"Без паники, товарищ, вы ведь не проходили таможи? Вот видите, необходимая формальность..."

Но я понял все. Я все понял. Страх так сжал мое сердце, что я не ощущал биения его. Это даже не был страх, а скорее смертельная тоска, какую чувствует подбитая птица, краем белеющего глаза видящая последнее — как товарищи ее улетают вдаль.

"Вот она, — металось в мозгу, — вот ошибка!" Как всегда, некто критичный внутри выговаривал мне. Он напоминал мне мои безысходные ночные думы об ошибке, о громадности и непоправимости ее. Ошибки отъезда с Родины. Так вот значит, что это такое — настоящая ошибка. Вот она, с ее истинным мертвоголовым оскалом...

Мы миновали несколько помещений, пока не попали в некую комнатку, бывшую еще голой и пахнущую краской. Новенькой вещью со склада была комнатка, однако стены ее уже успели усеять инструкции. Сломав архитектурный центр, портрет вождя продиктовал свой собственный центр. Тяжким и молчаливым помощником его стоял в углу несгораемый шкаф...

Я не помнил, как мы шли, как вошли сюда. Отчаяние мое было так велико, что преобразовалось в молитву. Молитву такого заряда, что Божество не выдержало. Со времен первых христиан не получало Божество молитвы такой силы. И дрогнуло Оно...

И тотчас заметались милиционеры. Еще бы, случилось невероятное. Только что я был здесь, сидящий на стуле... И вот стул пуст... Для них пуст, потому что я еще не понимал случившегося. Еще недоумевал... Они бросились искать меня, искали в самых невероятных местах: в корзине для бумаг, за портретом. Подозрительно взглядывали на несгораемый

шкаф... Тут я уронил пиджак, что держал на руке. И он стал видим...

Но как же я ошибался, как недооценивал их. Они моментально все поняли, и один из них кинулся закрывать двери, но я опередил его.

Я мчал по коридорам, приводя в испуг и недоумение сбиваемых мною людей. Я видел моих спутников. Они весело бродили по переходам, глаза на фото актеров и макеты сцен. Они не чувляли беды, а, может быть, она им и не грозила. Чрезвычайным усилием я взял себя в руки. Осторожно вошел в цирк, уже гудевший зрителями. Я заставил себя успокоиться, я знал: нельзя, к примеру, идти по песку арены, останутся следы. Нельзя также идти по плюшевому барьеру, тоже следы.

Перешагнув через целый бурелом ног, я добрался до прохода. Там, разбежавшись, взмахнул руками, оперся о воздух, взмыл и, огибая больничный блеск трапеций, полетел к выходу.

На одной из верхних трибун я увидел одного из приехавших со мной. Случайно уехавшего и не случайно приехавшего обратно. Раздуваясь от самодовольства, он рассказывал какой-то дамочке о Западе, о Нью-Йорке, о том, какой он ловелас и как устроил вчера девушек своим друзьям. По бокам двое с неслушающим выражением лиц внимательно слушали его. Я нахлобучил шляпу этому идиоту на глаза, пролетая.

Промчав в проем входной двери, я оказался в недостроенном вестибюле, и еще и еще раз понял, как недооценивал их. Я знал, что это бюрократы, жестокие и невежественные, гонящиеся за административными пылинками. Но как я недооценивал их! Потому что в недостроенной части стены милиция скоростными темпами натягивала металлическую сеть.

Отверстие сужалось все более и более. Я набирал скорость. Я мчал, как торпеда, проскочив оставшееся отверстие как раз тогда, когда оно было едва достаточно для этого.

Сеть замкнулась за мной. Я был на свободе. Реяли облака. Я летел, все более растягивая каучуковую нить страха. Пока она не лопнула.

Теперь я был на свободе. Впервые и по-настоящему.

## РАССКАЗ О ЛЕНИНЕ

Возвращался я как-то к себе домой, на Васильевский остров. На одном из перекрестков дорогу мне преградил милицкий патруль. Поперек улицы стояли воронки, и по эту сторону их скрежетали трамваи, тяжело вздыхали автобусы, мельтешили пешеходы, а по ту сторону улица катила свои перспективы аж до самой Невы.

Пропускали только тех, кто проживает в этом районе, и, конечно же, по предъявлении паспорта. К счастью, паспорт оказался при мне, и я шагнул за заграждение, мало интересуюсь причинами его. У них свои дела, у меня свои.

Шум позади стихал. Я один шагал по улице. Только что кончился дождь. Улица была пуста и пасмурна. И высыхающие пятна на тротуаре. Будто бы вымытые недавно полы, была улица. Со сдвинутой мебелью, с ушедшей хозяйкой и распахнутыми окнами. Вымытая и опустевшая улица...

Войдя же в свой переулок, я буквально поперхнулся от неожиданности, настолько был ослеплен пестротой красного. Переулок отчаянно алел, как только может алеть красное на сером фоне. Прославляющие народную власть, слабо трепетали флаги и транспаранты, водорослями струились в подводном свете, в дымчатом свете этого дня... На булыжной мостовой стоял Ленин.

Я не удивился: очередные съемки очередного фильма на революционную тематику. Выполнение кинофабрикой очередного плана.

Между тем, ни съемочной аппаратуры, ни оператора либо ассистентов не было видно. Лишь некая фигура стояла невдалеке, опершись о стену дома. Фигура была облачена в матросский бушлат, перепоясана вдоль и поперек пулеметными лентами. На голове ее красовалась бескозырка с новенькой золотой надписью "Аврора". Весь этот наряд завершался милицескими брюками и сапогами...

"Гражданин артист, — обратился я к полуматросу, — могу ли я пройти по месту жительства?"

"Я вам не артист, — строго отвечал он, — а при исполнении служебных обязанностей. Паспорт попрошу... Тоже мне, артист нашелся".

Я подал паспорт, оправдываясь: "Извините, но ваш костюм... Я думал, вы участник съемок, посвященных славным дням Октября..."

"А и думать не надо. Вышестоящие товарищи все обдумали. А насчет костюма, такое указание дано, мы выполняем. Вот, — постучал он пальцем по паспорту, — в каком доме проживаете, единственный во всем городе выбран, как наиболее созвучный эпохе революции, гордиться надо, а вы артистом обзываетесь".

"А какой, разрешите полюбопытствовать (я хотел, было, спросить — артист, но побоялся), какой товарищ в роли Ленина?"

"Ленин, — последовал четкий ответ, — его, может, пообвыкнуться здесь поставили, а я вот присматриваю..." Воцарилась тишина в переулке, пауза.

"Позвольте, позвольте, я чего-то недопонимаю. Как это? Ленин, конечно же, живее всех живых, но он ведь не может, так сказать, самостоятельно передвигаться. Не сочтите за выпад, научно известный факт".

"Вот что, гражданин, — сурово прервала меня фигура, — Ленин подлинный, а разговорчики эти вы прекратите и идите себе подобра-поздорову в направлении к месту проживания..."

Обалдевший от всего этого, я крадучись, стеночкой пошел, осторожно заходя за его спину, чтобы миновать быстрее. Подойдя же ближе, я увидел, как он был стар. Та же кепчонка, пропахшая музейными, бесконечными днями. Кепчонка, будто бы птица, севшая случайно. Старенькая пара и распахнутое лихо пальтишко. Бывшая крепость маленького, квадратного человека угадывалась в нем. И на груди новенькой этикеткой белел треугольник рубашки с галстуком.

Я попытался было проскользнуть мимо, но он заметил меня и подошел, неуверенно ступая. Я замер, а Ленин заговорил и даже не со мной, а как бы продолжая давно и неизвест-

но с кем начатую беседу: "...черт возьми, даже в выпотрошенном и мумифицированном состоянии, в гробнице, человек продолжает стареть, пока не распадется в пыль. Я страшно постарел. Подумать только, что жизнь, уходя в невероятные глубины, продолжает свой бег. Извечный бег. И нет покоя..."

"Простите, Владимир Ильич, — спросил я, желая отвлечь его от печальных мыслей, — как я понял, это открытие, это переворот в науке, ваше оживление?"

"Да, представьте себе, батенька! — и он ухватил меня за пуговицу, стал покачиваться с носка на пятку. Он вытаскивал свои привычки и манеры, как вытаскивают пронафталиненные вещи из комода... Но той легкости уже не было во всем этом, той легкости, какую видишь в плывущих кадрах документального кино о нем. — Представьте себе, заходят в мавзолей трое эдаких славных людей и облучают меня. Они решили сделать сюрприз Центральному Комитету. Люди из ЦК растерялись, как дети, еще бы, такое счастье. Через пару часов был полностью восстановлен организм, еще через час — кровообращение и мозг. Через сутки я встал. Как пушкинская спящая красавица. Правда, один из этих чудесных, преданных нашему делу людей умер, как мне объяснили от неосторожного обращения с излучателем. Жертва открытий обычно сам первооткрыватель. Такова природа этого феномена, такова природа сознания его и действительности..."

Бедный старик потерял ход мысли и стал бормотать что-то бессвязное. Я осторожно направил его: "Владимир Ильич, а остальные как же, наверное, награждены, увековечены?"

"Да, конечно, — сознание постепенно возвращалось к нему. — Оставшиеся двое сразу уехали куда-то, как пояснили мне, куда-то далеко, где требуется в срочном порядке их помощь. Какие времена! Какие люди!"

Между тем в переулке возникла суматоха. Суетились какие-то люди. Волокли декорации. С грузовика в ударном порядке сгружали венские стулья, пулемет. Стремительно промчал человек со старинным телефонным аппаратом в руках. Сновали комсомольцы и младшие чины партийцев. Прибывали машины, из которых вылезали матерые ответственные

лица. Их наглые шофера приплясывали, разминаясь, скрипя заграничными и спецотечественными кожанками, украшенными алыми бантами...

Все это суенилось и мельтешило, не обращая никакого внимания на Ильича.

"Как в Октябре, в Смольном! — заметил я, — еще не зная вас по портретам..."

"Да, да, ужасно люблю рабочий гвалт и шум" — пробормотал бедный старик.

"А вы с какого года в партии?" — спросил он, оживляясь.

Но я не успел ответить ему, потому что толпа внезапно нахлынувших официальных лиц подхватила Ильича и унесла на своем гребне в глубины старинного дома. Закипали одеконные и чистоворотничковые аплодисменты, ухали жирные выкрики: "Да здравствует Ильич!", "Он снова с нами!" "Вождь мирового пролетариата — бессменный часовой!" На трибуну взбирались поэты и взбивали свои курчавые волосы, карабкались корявые люди с засаленными бумажками готовых приветствий. Голосами, полными молодого набухания, звенели пионеры.

Торжественное заседание началось...

Когда же я входил в парадное, с лестницы скатился навстречу мне сосед Семенов. Он был очень старый и в очень новом костюме с орденами. На пиджаке, на орденах лежала седая борода.

Украшение всех президиумов, посвященных революционным датам, он сурово глянул на меня и уже открыл было пасть со вставными зубами, чтобы сказать что-либо в осуждение. Но я перебил его: "Опаздываете, опаздываете, товарищ Семенов. Ильича уже внесли. Поторапливайтесь, теперь вы не самый старый партиец..."



"Я повела вас в очень краткое путешествие по следам античной истории, — сказала Коринна лорду Нельвилю, — но вы поймете теперь, сколько наслаждений сулят подобные изыскания — ученые и вместо с тем поэтические: они говорят равно воображению, как и уму".

*"Коринна, или Италия",  
Жермена де Сталь*

Юлия ТРОЛЛЬ

## УНО, ДУЭ, ТРЭ...

*Сцены интеллектуальной жизни*

— Господа, прошу всех занять свои места. Ну, что, все собрались? Или опять кого-то нет? Постойте, дайте-ка я вас сосчитаю, уно, дуэ, трэ, куатро... диечи. Все. Итак, господа, поехали!

Аркаша энергично закрыл дверь ярко-оранжевого пикапа, включил зажигание, и машина выехала на автостраду Неаполь-Помпеи.

Лихо, ни разу не замедлив скорости, автомобиль пронесся все двадцать два километра, которые отделяют Неаполь от античного города, и остановился на залитой солнцем площади. По левой стороне ее тянулась массивная городская стена терракотового цвета с темным сводом арки посередине, справа выстроились в ряд со своими тележками продавцы сувениров, мороженого, "фотоматериалов" фирмы "Кодак", книжек-путеводителей на всех языках.

Пассажиры оранжевого пикапа шумно высыпали из машины и столпились у лотков. Послышались возгласы: "Куанто коста? Уна милле? Чего это так дорого-то? Муся, тебе нравит-

УНО, ДУЭ, ТРЭ...

97

ся этот браслет? Какой? А вот этот, с собакой! Это не с собакой, а с римской волчицей! Ну, с волчицей, так с волчицей, кто ж ее тут разберет". Шкатулки, ракушки, коралловые колечки, четки, распятия, изображения римского Папы и Мадонны — все стало передаваться из рук в руки; все было тщательно осмотрено, на все была выяснена цена. Возможно даже, что было бы что-то и куплено, но вдруг раздался голос Аркаши:

— Господа, не будем терять времени, экскурсия и так займет у нас часа три. Пойдемте, господа, пойдемте! Прошу никого не отставать от группы, иначе вы можете заблудиться в этом лабиринте древностей. Так, уно, дуэ, трэ... Кого нет? Эй, мальчик, ну-ка сбегай и позови вон ту синьору в джинсах.

В это время девушка в джинсах, которая все еще стояла у лотка, уже заметила, что ее ждут, и поспешила к толпе экскурсантов.

— Простите, что вы там купили? — спросила ее яркая блондинка с очень темными бровями.

— Путеводитель, — ответила девушка.

— На русском?

— Нет, на английском.

— А-а... — разочарованно протянула блондинка и тут же добавила: — Подумайте только, какое безобразие — на китайском путеводители есть, а на русском нигде нет. Просто безобразия.

— Это не на китайском, а на японском, — сказала девушка.

— Ну, на японском, какая разница! Но на русском-то нет.

— Итак, господа, — сказал Аркаша, — войдя в эту арку, мы окажемся с вами на территории древнего города Помпеи, уничтоженного извержением вулкана Везувий в 79 году нашей уже с вами эры.

Итальянец в синей форме музейного сторожа взял из рук Аркаши билеты, приветливо улыбнулся, успел заглянуть в глаза каждой проходящей через турникет экскурсантки и, проводив долгим, ненасытным взглядом удаляющуюся по направлению к форуму толпу иностранок, застыл в грустном ожидании следующей группы.

— Господа, — сказал Аркаша, остановившись вдруг посреди дороги и повернувшись лицом к безмолвно шествующей за ним толпе. — Это место, где мы сейчас находимся, называется форум, это, так сказать, нечто вроде Красной площади. Форум был когда-то центром общественной и политической жизни жителей Помпеи. Здесь проходили демонстрации, парады, митинги. Справа вы видите несколько пьедесталов, на которых в свое время помещались статуи, но не Карла Маркса, конечно, а знаменитых, прославившихся чем-либо граждан. Слева находилась трибуна ораторов, что означает в переводе на современный язык — трибуна мавзолея. Давайте пройдем еще немного вперед, и вы увидите руины храма Аполлона. Вот эта лестница и эти колонны (две из них, кстати сказать, здорово уцелели и выглядят, как новенькие), вот, пожалуй, и все, что осталось от этого храма. А теперь посмотрите сюда — это базилика, здесь заседали судьи и помещался трибунал. Базилика окружена двадцатью восьмью колоннами, но, я думаю, мы не будем их пересчитывать, а пойдем дальше.

Группа путешественников бодро зашагала по неровной каменистой мостовой древнего города, прошла мимо здания муниципального совета, мимо невысоких гранитных тумб — остатков безымянной, снесенной почти до основания колоннады, мимо заросших травами мраморных ступеней, мимо арок, портиков, галерей и остановилась по указанию экскурсовода Аркаши возле развалин античного храма.

— Господа, — сказал Аркаша, — я ведь предупреждал заранее, чтобы все надели на экскурсию самую удобную обувь, лучше всего тапочки. Вы же видите, какие здесь дороги, это вам не асфальт. Но синьоры наши, я вижу, захотели покрасоваться на каблуках, теперь из-за них мы будем тащиться, как черепахи. А синьора в джинсах опять отстала. Эй, синьора, что вы там потеряли?

— Я бы хотела посмотреть труп собаки, — извинясь, проговорила девушка, подбежав к ожидающей ее группе. — В путеводителе сказано, что здесь где-то должен быть муляж трупа сторожевой собаки. Цепь, на которую она была посажена, не позволила ей спастись от катастрофы, и она погибла в страш-

но выразительной позе последней попытки сорваться и убежать.

— Не беспокойтесь, синьора, — сказал Аркаша, — если вы не будете так часто отставать, мы успеем посмотреть все, и вашу собаку тоже. Итак, господа, мы находимся возле храма Юпитера, я хочу кое-что рассказать вам об этом прекрасном и значительном строении. Детишки могут пока побегать и даже вскарабкаться на лестницу.

Два мальчика и девочка, все трое — дети одной из экскурсанток, тут же бросились врассыпную.

— Обратите внимание, господа, на эту лестницу и ряд колонн по обеим ее сторонам. Я, к сожалению, не профессиональный гид, поэтому не могу точно сказать, коринфские это колонны или еще какие. Но не в этом дело, господа! Главное, что когда-то они были покрыты мрамором и, само собой разумеется, производили не такое жалкое впечатление. Впрочем, я нахожу, что и в таком виде они выглядят величественно и держатся, несмотря на свой возраст, довольно крепко, а это говорит о том, что раньше умели-таки строить. А теперь пойдемте дальше. Аванти, за мной!

— Аркаша, скажите, пожалуйста, откуда вы все это знаете? — подошла вдруг и спросила его та самая блондинка, что интересовалась путеводителем.

— Что именно? — не понял Аркаша, но не остановился, а продолжал идти вперед.

— Ну, вот все это, про колонны, про лестницы...

— Хочешь жить, умей вертеться, синьора! Я вам вот что скажу: если меня и в этом году не отправят из Италии, то не исключено, что я и латынь тут познаю.

— А мы, случайно, с вами не из одного города? Я из Дрогобыча, а вы?

— Я из Трускавца, — не замедляя шага, ответил Аркаша.

— Ну, так мы почти что соседи! — обрадовалась блондинка и томно повела черной бровью.

В это время группа уже вошла в темное, с низкими сводами помещение. Запахло вековой сыростью и еще чем-то.

— Осторожнее, господа, — предупредил Аркаша, — смотри-

те под ноги, здесь какая-то лужа, видно, кто-то из интуристов не утерпел.

— Кстати, а где это? Я бы не отказался заглянуть и туда, — сказал пожилой мужчина в новенькой замшевой курточке.

— Туалет, господа, стоит чинкуе ченто лир, после осмотра этого помещения я вас туда отведу, — сказал гид.

— Не надо, не надо! — раздалось сразу несколько голосов.

— Не стоит тратить на это время!

— Итак, господа, мы с вами находимся в бане. Римские бани, или, как их называют, термы, были очень популярны в древности. Этот зал служил раздевалкой, по-нашему, предбанником. Вы видите специальные ниши, куда складывалась одежда, и каменные скамьи для ожидающих своей очереди граждан. Слева находился зал с холодной водой, а справа с горячей.

— Неужели? — удивилась средних лет брюнетка, считавшая себя очень похожей на Элизабет Тейлор. — А говорят, что водопровод был изобретен в Риме! Почему же в Помпеях не догадались придумать краны-смесители, чтобы уж не бегать из одного помещения в другое, а спокойно мыться на одном месте?

Пожилая, но крепкая на вид женщина хотела что-то возразить ей, но не успела — все шумно поспешили вслед за Аркашей в другую залу.

— Здесь, — крикнул Аркаша, резко повернувшись к следующей за ним толпе, — помещалась парилка, обратите внимание на орнамент вокруг ниш, посмотрите, как разукрашен потолок, вернее, купол, а это, как вы догадываетесь, бассейн, по краям его до сих пор сохранились какие-то бронзовые буквы и цифры. Но самое главное, обратите внимание на стены, это вам не современные перегородки. А какая штукатурочка! Вы только посмотрите сюда, вот здесь кусок отвалился и хорошо видно — вот это штукатурочка! В четыре пальца толщиной! Вот это я понимаю!

Двое мужчин отделились от группы и подошли ближе к потрескавшейся серой стене, потрогали ее, постучали по ней костяшками пальцев, побили кулаками; прищулив один

глаз, смерили в разрезе толщину штукатурки и отошли, покачивая головами от восхищения.

Осмотр римских бань был закончен, и после мрака и холода группа очутилась на раскаленных каменных плитах старинного дворика, окруженного со всех сторон развалинами древнего жилища. Мраморный квадрат давно бездействующего фонтана, с бронзовой фигуркой посередине, занимал основное пространство двора.

— Эта бронзовая статуэтка, — уверенно сказал Аркаша, — изображает танцующего Павла.

— Танцующего Фавна, — поправила его пожилая дама. — Посмотрите, у него же хвост и рога.

— Извините, синьора, — сказал ей Аркаша, — за точность имен я не ручаюсь. Возможно, это танцующий Павел, а возможно, и так, как вы сказали, не в имени дело, был бы человек хороший, а этот Павел, видать, был в порядке — вон какой домино себе отгрохал! Что касается хвоста, так ведь бывает, что так рождаются, я про это сам читал, ну, а рога приобрести любому мужчине не сложно.

Экскурсия вошла в атриум и оттуда разбрелась, не боясь заблудиться, по разным комнатам, галереям и лоджиям просторного пустого дома. Полихромированный мрамор, лепные украшения, цветная мозаика, фресковая живопись произвели огромное впечатление на всех.

— Нет, это просто поразительно, — сказала брюнетка, действительно похожая цветом волос на Элизабет Тэйлор, — просто поразительно, что после такого страшного землетрясения так много еще уцелело!

— Синьора, Помпеи были разрушены извержением вулкана, а не землетрясением, — напомнил Аркаша.

— Так что вы хотите сказать, что извержение лучше, чем землетрясение? Я думаю, что одно другого стоит, — строго проговорила брюнетка, выходя вместе со всеми из дома Фавна.

Тяжело ступая по буграм булыжников раздолбленной временем и колесами античных колесниц дороги, группа любопытных вольноотпущенников зашагала дальше; пройдя

несколько метров, свернула в Арку Калигулы, прошла по виа дель Меркурио, пересекла окруженный стеной колоннады заглохший сад, обогнула вокруг фонтана Нимф и остановилась возле дома Трагического поэта.

— Эй, синьора, это случайно не ваша собака? — спросил Аркаша, указывая на порог, выложенный мозаикой с изображением свирепо лающего пса.

— Нет, это не та, моя — муляж, точная копия живой собаки, вернее, мертвой.

— Честно говоря, я понятия не имею, где ваша собака зарыта. Ладно, попробуем ее найти. Однако, посмотрите хорошенько, может, все-таки вам эта подойдет?

Осмотрев с тем же неугасающим интересом еще дюжину фонтанов, бассейнов, купален, бесчисленное количество колоннад, арок, портиков, перистилей, заглянув в десяток храмов, дворцов, палаццо и особняков, группа бывших советских людей впервые за свою жизнь оказалась в лупанарии.

— Господа, — сказал Аркаша, хитро улыбаясь, — мы с вами находимся... Детишки пусть пока подождут на улице. Ну, как вы думаете, где? Ни за что не догадаетесь. В публичном доме!

Уставшие от долгого хождения по камням, разморенные к тому же неаполитанским солнцем, люди заметно оживились — в глазах у женщин загорелись искорки нездорового любопытства, мужчины расправили плечи и начали озираться по сторонам, ища кого-то. Лупанарий был темен и пуст, как склеп, но один звук произнесенного вслух запретного слова поднял настроение экскурсантов.

— Прошу обратить внимание на стены, взгляните на эти рисунки. Я вам скажу, тут есть чему поучиться. Вы только посмотрите, какие позы! А какие девочки! И все до одной рыженькие! Я, честно говоря, так устал от черного цвета на своей исторической, вы бы только знали! В Трускавце я занимался в художественной самодеятельности, играл на контрабасе, я и сейчас, впрочем, играю, только раньше я предпочитал для смычка черный конский волос, он много прочнее, а теперь даже смычком пользуюсь только с белым волосом.

Неважно, что он быстрее рвется, зато чувствую, что держу в руках блондинку.

— Муся, ты только посмотри, какие тут маленькие кровати! — сказала одна очень полная женщина своей подруге, которая была намного полнее ее.

— Аркаша, а что тут написано? — спросила блондинка, указывая на испещренный граффити простенок.

— О, я бы многое дал, чтобы прочитать эти надписи. Стишки, наверное, какие-нибудь, соответствующие духу заведения. Не гимн же Советского Союза! Все, господа, хватит! Я вижу, вы не прочь здесь остаться. Пойдемте, нам еще многое надо осмотреть.

— А еще будут дома терпимости или у них был только один на весь город? Не забывайте, что мы атеисты. А вы нас все по храмам да молельням водите, — сказал пожилой мужчина.

— Не волнуйтесь, господа, я вам такое еще покажу, что вы не пожалеете, что сюда поехали.

Прошли еще несколько метров и остановились возле богато-того особняка двух братьев негоциантов. Миновав ворота, оказались в просторном атриуме с мраморным бассейном, дно которого было покрыто искусной мозаикой. Вдоль правой и левой стен стояли вросшие в плиты пола два огромных литых кофра, когда-то хранившие в себе золотые и серебряные монеты. На многочисленных панно, на их темно-красном, бледно-терракотовом, ляпис-лазуревом фоне, на карнизах црета черной эмали все еще кипела жизнь: прекрасную дочь Агамемнона готовили к жертвоприношению, козлоногий Пан играл на флейте, грациозные маленькие амурчики с перламутровыми тельцами в большом количестве слетались на пилястры и цоколи и, подражая взрослым, торговали цветами и фруктами, изготавливали розовое масло и другие ароматические натирания и эликсиры, славили весталок и, весело приплясывая, шагали за пьяным Вакхом; в одном из флигелей маленький Геркулес бесстрашно сжимал пухлыми ручонками извищающуюся от боли и негодования змею, а на холодной стене алькова томилась покинутая Ариадна.

— Господа, — сказал Аркаша, — все это, конечно, красиво, но, если вы хотите посмотреть нечто, я бы сказал, уникальное, прошу скинуться лир по сто. Раскошелитесь, господа, смело — гарантию даю, не пожалеете. Я отдам эти деньги вон тому дяде в фуражке, и он откроет нам вот эту дверцу.

Итальянец в фуражке стоял неподалеку с огромным ржавым ключом наготове. Все столпились возле темной ниши, сторож подошел откуда-то сбоку, вставил в скважину ключ и отворил решетку. Толпа негромко ахнула. Из глубины ниши, изображенный в полный рост, гордо смотрел на бедных смертных Приап, бог плодородия и чувственных наслаждений.

Некоторое время все смотрели молча, Аркаша выждал необходимую паузу и, наконец, сказал:

— Ну, как?

— Да-а-а... — в один голос произнесли и мужчины и женщины.

— Я, честно говоря, не знаю, — продолжал комментировать Аркаша, — кто из братьев этого дома изображен на этом портрете, но согласитесь, что он был в порядке?

— Да разве такие бывают? — спросила блондинка. В тоне ее голоса послышалась многолетняя безнадежность.

— А почему же нет? Бывают, — уверенно произнесла пожилая чопорная дама.

— Бывают? — резко повернулась к ней блондинка, не веря своим ушам.

— Бывают, бывают, — вполне авторитетно подтвердила дама.

— Неужели бывают? — все еще не верила та и перевела вопросительный взгляд на Аркашу, но Аркаша промолчал.

— Мама, подвинься, мне ничего не видно, — сказала маленькая девочка, неожиданно прибежавшая из сада, где только что играла со своими братьями.

— А где Павлик и Митя? Зачем ты их оставила? Я же тебе сказала: никуда со двора не бегать! — мать говорила нервно и испуганно, боясь, что дочь уличит ее в "прелюбодеянии".

В это время прибежали и мальчики. Сторож поспешил закрыть решетку.

Аркаша был неутомимым и добросовестным гидом — не обращая внимания на нарастающую с каждым шагом усталость туристов, он вел их вперед, не оставляя ни одного памятника древности без внимания. Кое-кто из тех, которые послабее, уже не входили внутрь, а оставались снаружи посидеть на холодном фундаменте или обломке тосканской колонны. Те, что еще имели силы войти в помещение, умудрялись добраться до триклиния и там валились на базальтовые лежа, усаживались на пьедесталы. А Аркаша все говорил и говорил: это вот дом богача-патриция, как их раньше называли, это лавка ремесленника, это водонапорная башня, а это опять баня...

— Взгляните, господа, сюда, — не унимался Аркаша, — это казармы гладиаторов. Я надеюсь, всем известно, кто такие гладиаторы? Все небось читали книжку "Овод"?

— "Спартак"! — крикнул кто-то из мальчиков.

— Прошу прощения, точно, "Спартак", я почему-то их всегда путаю, — тут же извинился Аркаша.

Наконец, дошли до Большой палестры, окруженной с трех сторон портиками, с заросшим травами водоемом. От двух рядов громадных платанов, обрамлявших когда-то водоем и укрывавших от зноя купающихся атлетов, остались лишь гладкие низкие пни.

— Здесь был стадион, или по-нашему, дворец спорта, — пояснил Аркаша, — а напротив вы видите театр.

Мальчики и девочка оторвались от группы и побежали по рядам полукруглых ступеней, забираясь все выше и выше на самый последний ярус. Глядя на них, девушка в джинсах тоже не утерпела — сбежала на оркестру и, воздев театрально руки к рубиновому сплаву заходящего солнца, громко прочитала: "Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос..."

— Эй, синьора, хватит! Вы всех задерживаете! — крикнул ей Аркаша. — Пойдемте, господа, экскурсия по Помпеям закончена.

Обогнув амфитеатр и повернув налево, группа вошла в узкий темный коридор с длинным рядом поднимающихся

вверх ступеней и с низким сводом, в конце которого из-под черного полукруга арки свисал ламбрекен из небесно-синей ткани.

— Это вы чьи стихи сейчас читали? — обратилась к девушке в джинсах идущая рядом с ней женщина. — Не Евтушенко, случайно?

— Нет, Гомера.

— А-а-а... Но тоже неплохо написано.

Когда все собрались возле пикапа, Аркаша подвел итог:

— Господа, я надеюсь, вам понравилась экскурсия. Вот только вашу собаку мы не нашли, синьора, поверьте, я вам очень сочувствую. На завтра у нас запланирована поездка на остров Капри, там вы увидите тоже много интересного, а сейчас поспешим в Соренто. По дороге остановимся где-нибудь перекусить, но предупреждаю заранее, что времени на привал у нас в обрез — прошу очень-то не расслаживаться, иначе опоздаем на фабрику и останемся без столиков, а их кроме, как а Соренто, вы нигде не купите.

После этих слов все кинулись садиться в машину, никто не хотел упустить возможность привезти в Америку итальянский сервировочный столик, в стиле маркетри, и получить там за него втрое больше.

— Минуточку, господа, — воскликнул Аркаша, — еще одно маленькое сообщение. В следующее воскресенье я организую экскурсию по Риму. Всех желающих прошу сегодня же записаться и внести аванс, а в воскресенье быть ровно в одиннадцать часов возле почты в Остии. Капито?

— Муся, ты поедешь в Рим? — спросила полная женщина свою подружку.

— Надо поехать, а то я до сих пор Колизей не видела.

— Вы не видели Колизей? — вмешался пожилой мужчина. — Как же это можно? Вы на рынок трамваем ездите? Ну, так после третьей остановки в окно с правой стороны его превосходно видно. Как же вы не заметили? Хотите, в следующий раз поедем на рынок вместе, и я покажу вам Колизей, только надо выехать пораньше, чтобы трамвай не был набит битком.

— Итак, господа, поехали! Прошу всех садиться в машину! — скомандовал Аркаша.

Брюнетка, считавшая себя похожей на Элизабет Тэйлор, и блондинка с густыми черными бровями заняли свои места рядом друг с другом.

— Вы Америку ждете? — спросила блондинка.

— Америку, — ответила ей соседка.

— Я тоже. Волнуюсь ужасно.

— Из-за чего?

— Ну, как же! Говорят, работу по специальности получить очень трудно, в Америке наши дипломы и наше образование совершенно не ценят.

— Ну, что? Все на месте? — крикнул Аркаша. — Уно, дуэ, трэ... диечи. Все. Тогда поехали!

Аркаша энергично захлопнул дверцу, включил зажигание, и машина выехала на автостраду Помпеи — Соренто.

**"С У Ч А С Н И С Т Ь"**  
(на украинском языке)

*ежемесячный журнал литературы, критики, искусства, науки и социально-политических вопросов на эмиграции и в СССР.*

Годовая подписная цена— 25 долл.

Цена отдельного номера — 3 долл.

**Заказы посылать по адресу издательства:**  
**"Suchasnist" 8 Muenchen 2, Karlsplatz 8/111, Germany.**



Михаил ГЕНДЕЛЕВ

## ХОЛМЫ ИУДЕЙСКИЕ

\* \* \*

Ларисе Герштейн

Ни славы, ни злобы,  
ни слова от века!  
Ты вздоху подобна —  
Ребекка!

Со страстью не сладить  
о, высшая сладость —  
твоими перстами  
морщины разгладить,  
Ребекка!

Ведь нас не рожали —  
лепили из глины,  
а в крепости красной  
кричат в равелинах

закатов моих золотые павлины,  
Ребекка.

.....  
.....  
.....  
.....

На лбу наливаются гневные жилы —  
смотри — это руки чужие, Ребекка,  
Смотри, это тело остыло от жизни, Ребекка,  
Ребекка!

Восходит лицо твое в траурном нимбе,  
в беззвездном и низком изгнания небе,  
Ребекка, моя недозванная гибель,  
Ребекка!

Ты страстью была — обернулась любовью —  
обманная плоть дочерей человека —  
Пилит, я смущенный стою пред тобою —  
Ребекка!

*Ленинград, 1974.*

\* \* \*

Л\_жится первый снег на площади,  
как целомудренные простыни.  
Как долго нету жениха!

Как будто милосердье мыслимо,  
и флаги белые повисли, но —  
в предместья не вошли войска.

Ложится снег, как предназначено,  
на то, что жизнь писала начерно —  
листом — поверх черновика.

На то, чего бы лучше не было.  
И разве перепишет набело  
какая легкая рука?

*Ленинград, 1975.*

\* \* \*

Туман относит ветер от реки.  
Не лучше ли: как ветер от тумана  
относит реку... — так мы далеки  
от берегов своих — и странно  
нам возвратиться в прошлое сейчас,  
когда мы возвратились — у причала  
я перевоплощаюсь в толмача:  
свою любовь перевожу сначала —  
туда, где отраженья тростника  
колышет тяжких вод струенье,  
где — как слова чужого языка —  
разучиваются прикосновенья.  
...Тот берег ближе — этот вдалеке,  
и лодочкой отпущенной течению —  
рукою — прикасаешься к реке,  
даря благословенье и прощенье  
за то, что больше не вернуться нам,  
и мы — уже из будущего верим,  
что скрежет дна по каменным волнам  
нам означает — ближе — этот берег.

*Ленинград, 1976.*

### 1099 ГОД

Итак,  
мы сидим вкруг стола.  
Нам еще далеко до утра.  
Помаленьку в кости идет игра,  
стекают потоки звезд по нашим щекам,  
а позади луны  
восходит лицо Лилит, еврея безумной жены,  
восходит  
и разевается  
черный рот  
и произносит:  
"Тысяча девяносто девятый год".

...все-таки жизнь длинна, лемуры мои и так длинна,  
что к середине ее забываешь и речь о ком;  
повествованье, кажется, о других  
и важных вещах, как то: голод, любовь, война...  
Пауза, как ребенок слуги,  
стоит за дверным косяком.

Да вы ведь уже наблюдали танец Лилит  
при воссияньи этой самой луны,  
только сады были занесены,  
и на Иудейские Холмы снега легли.  
...Она танцевала в белом пустом саду  
в тысяча девяносто девятом году.  
Вы  
ведь уже лежали,  
улавывая в свод,  
и чтица сновидений ваших расхаживала у головы  
и оправленным в серебро коготком —  
вот так вот —  
пробовала:  
а не живы ли вы...  
Вы

видели танец Лилит!  
Ваши губы в меду!  
в тысяча девяносто девятом году!

"Но все поправимо, — сказал крестоносец, — пока сияет луна"  
И взял Иерусалим, и бросил как кости — и со стола  
они покатались — что-то вроде числа  
выпало нам.  
(Нам всегда выпадает что-то вроде числа.)  
Лилит, безумная дура, числа с костей прочла.

...и танцевала еврея жена Лилит,  
ибо была безумна она.  
В сопровождение били лишь  
барабаны вина.  
Да! датская флейта подсвистывала у Яффских Ворот им.  
В тысяча девяносто девятом году в городе Иерусалим...

Кресты,  
пришитые к его плечам,  
приподымались,  
когда он смотрел на то,  
как плясала,  
власа свои волоча,  
Лилит  
пьяна,  
и даже лицом дурна.  
Выходил из-за плеча крестоносца слуга в его час,  
всем подливал вина.

...бьют барабаны вина музыку свою.  
Разевается черный рот.  
Ах, лемуры мои, пока барабаны бьют,  
мы повторим урок:  
Снова кости свои раскинет крестоносец на турнире или в бою,  
и я - когда тому станет срок.

Но, как говорил он: "Все поправимо, пока сияет луна".  
Я бы добавил — пока еще жизнь длинна,  
пока на Иудейские Холмы снега не легли.  
Час подносит вина,  
и нам танцует  
Лилит.

*Иерусалим, 1978.*

### **БАСНЯ О ПАУКЕ ИЛИ РАССУЖДЕНИЕ О ПРЕДМЕТЕ ПОЭЗИИ**

Я говорил ему:  
"Паук!  
твои тенета не устали  
от бессловесности  
и мух  
словесности моей... —  
в печали  
к нему взывал я:  
о! паук..."

Он расправлял трансцедентали.

Я продолжал:  
"Печаль, печаль  
мы на пути своем встречали,  
а было радостно вначале,  
не искусивши от "Начал" —

он ничего не отвечал.

Он ничего не отвечал —  
в молчаньи он —  
а я в отчаяньи.  
Я говорил —

МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ

114

а он скучал,  
ах — он скучал —  
а я в печали.  
Я замолчал,  
а он молчал —

так мы друг другу отвечали.

И обозначенный предмет  
в сети раскинутой —  
покоя —  
в сети раскинутой покоя —  
качался с легкостью такую,  
что чудилось: предмета нет.  
Я даже проверял рукою  
и находил —

что сети — нет.

Томил меня,  
а, впрочем — мил,  
паук  
на ниточке причины —  
с хитиновой его личины  
меня веселый клюв манил

полупредчувствием кончины.

"Но нет! -  
(так я негодовал) —  
молчания на этом свете!  
Паук,  
и ты не годовал

играть в молчанку!"  
Он зевал

и тонко отзывались сети.

И — наконец:  
"Паук, паук,  
от мух устал я и от мук —  
устали мы, мой друг,  
устали!  
И жизнь проводим мы в печали".

Затем немного помолчали.  
И я гадливо пальцы сжал.

Но к потолку поэт сбежал  
по, судари, трансцендентали.

*Ленинград, 1976*  
*Иерусалим, 1979*



*Владимир НАУМОВ*

## **МАРТОВСКИЕ СТИХИ**

Растаял шепотной растяпа-снег,  
Недавно мне приснившийся во сне.  
Архип осип. И простудился Осип.  
И не поймешь: весна, зима ли, осень,  
Но что не лето, это-то уж точно,  
И воробьев сплошные многоточья.

А снег исчез — и не было его.  
А может, он и вовсе не родился.  
А я-то не на шутку испугался.  
Так значит, не случилось ничего?

Снег самолетный через плат небес —  
Какая обозримая нелепость.  
Так значит, так и не было чудес?  
И целый год не наступало лето.  
Земля была грязна, полуодета,  
И мучили меня полуодетость,

## **МАРТОВСКИЕ СТИХИ**

117

Неряшливость и заспанность земли.  
Хотелось вишен и немного ласки.  
А некто мне протягивал рубли —  
Мол, отступись от невеселой сказки,  
"Да ты и не сумеешь рассказать".

И впрямь, я не сумею рассказать.  
И стало скушно и обыкновенно.  
И зеркало посмотрит мне в глаза  
И укорит за что-то непременно.

Я в доме снимаю зеркала,  
Позакрываю двери на засовы.  
А эта сказка все-таки была,  
Да уж навряд ли возвратится снова.

Сегодня я проснулся в полвторого  
И вижу: снег смеется из угла.

## **МАЙСКИЕ СТИХИ**

Уж это не случится никогда.  
Я помню: иней, синие сосульки,  
Декабрь лихорадил переулки,  
И ноги промочили города.

У всех температура сорок два.  
Текут носы. Разбухшие гортани  
Все чаще чуют чайной ложки вкус.  
Декабрь. Не первый на моем веку.  
В то утро я проснулся спозаранок  
И сразу же почувствовал: сейчас  
Произойдет. Не чудо, ну так что-то.  
Спешили люди. Верно, на работу.  
Такой декабрь я видел в первый раз:

На крыши, тротуары, провода,  
 Заборы, подоконники и трубы  
 Садилась птица синие. И зубы  
 Ломило тихим предвкушеньем чуда,  
 А это не случилось никогда.

*Париж.*

### **БОЙ БЫКОВ**

Били  
 чем-то  
 били  
 как-то  
 И по мне  
 и не по мне  
 и проехал  
 красный трактор  
 по распластанной  
 спине  
 Кожа  
 кости  
 кровь  
 аорты  
 перепутались  
 в земле  
 Я лежу  
 как крем  
 для торта  
 скоро буду  
 на столе!  
 И глаза,  
 как два цуката  
 Плачут  
 влажно и  
 легко  
 Этот

Жуткий  
 Красный  
 Трактор  
 нас привез  
 на бой  
 быков  
 Убивайте  
 Аве Цезарь!  
 И плевать  
 Ведь это —  
 сон  
 Но  
 как  
 банка  
 майонеза  
 Скорой  
 Помощи  
 Фургон.

*Москва*

\* \* \*

Прыжком пантеры вспыхнул свет  
 И было все невероятно  
 И тополя как автоматы  
 Шли по полуночной Москве

Река — недвижимый асфальт.  
 Все зданья превратились в скалы.  
 Как Лотова жена Москва  
 И даже ветра не осталось.

Ребенок крикнул, что король  
 Был гол. Ему никто не верил.  
 Какая маленькая роль  
 В страшнейшей из земных феерий.

Собаčky грустные глаза  
 Висят на проволоке железной  
 И не пытаются сказать  
 Всю сознавая бесполезность.

Мертво и холодно. Родник  
 Иссяк. Но так же беспредельно  
 Егор Семеныч, истопник,  
 Сидит и пьет в своей котельной.

Он пьет. На стуле черный кот  
 Заснул, раскинув хвост и лапы.  
 Мертва Москва. Он пьет и пьет.  
 И тополя, как автоматы,  
 Бегут в последнюю атаку,  
 Бегут в последний свой налет.

\* \* \*

Сегодня — быть.  
 А завтра — умирать.  
 Тревожно плыть  
 По грязным номерам  
 В гостиницах,  
 Где шлюхи и клопы,  
 Эсминцами  
 Врываются попы,  
 И жала  
 Окровавленных молитв  
 Сигналом стали  
 Для привычных битв.

Сегодня — быть.  
 А завтра — умирать.  
 В четверг — любить.  
 А в пятницу — порвать.  
 И знать, что мир,

Который любим мы,  
 Всего лишь пир  
 Разносчиков чумы.

### СПЕКТАКЛЬ

Человек чего-то  
 Не выдержал,  
 Он в окно на улицу  
 Выбежал.  
 Вдрызги-дребезги  
 Гладь оконная,  
 Бабки резвенько  
 К подоконникам.  
 Что-то красное,  
 Что-то темное,  
 Или — на стену,  
 Или — в омут.  
 Испугался, что ли,  
 Обыденности?  
 Надругались? или обидели?  
 Кто с балкона глядит,  
 Кто в партере.  
 "А еще, — говорят, —  
 Член партии".  
 А он тихо лежит,  
 Спокойно.  
 Убедился.  
 А все ж — не поняли.  
 Пятаки кладут  
 На ресницы.  
 Возмутитесь хоть!  
 Удивитесь!  
 А они стоят и судачат:  
 "Верно спяну он,  
 Не иначе".



Мотл ГРУБИЯН

## ВРЕМЕНА ГОДА

### 1. ВЕСНА

Ты весной, как яблоня, в птичьем свисте и гаме.  
Осыпашь цветами меня.  
Не часами со стрелками, а твоими шагами  
Измеряется длительность дня.

Солнце лед распахало, проникая в глубины,  
И ломаются в реках серебристые льдины.

А в душе моей тоже наблюдается это:  
Там ломаются льдины серебристого света.  
Солнце свет ослепительно льет.  
Солнце тает весной, как лед.

### 2. ЛЕТО

Красным зноем полна до краев тишина.  
Поле треснуло в пламени дня.  
Ты прохладой из глиняного кувшина  
Освежаешь от зноя меня.

## ВРЕМЕНА ГОДА

Пью из рук золотистых прохладу напитка  
По-звериному жадно, по-мальчишески прытко.

Без тебя бы погиб под расплавленным небом.  
Без тебя бы поник, будто колос под цепом.  
Я люблю тебя не потому ль?  
Мы вошли по колено в июль.

Будем лен полоскать на реке голубой.  
Хоть повиснуть на дереве, лишь бы с тобой!

### 3. ОСЕНЬ

Сердцу осенью некуда деться.  
Осень, сад обезлиствел. Воздух тише и глуше.  
Оземь лбы расшибают слишком нежные груши.

Через Турцию птицы устремляются к Югу.  
Мы, бескрылые, дома встретим зимнюю вьюгу.  
Сложим печку хорошую из плитняка,  
Чтобы копоть не пачкала нам потолка.

Я прижму тебя к жаркому сердцу.

### 4. ЗИМА

Ты зимой как цветок, обжигающий руки.  
В мире белый мороз, завывание вьюги.

Только ты удивительной солнечной кожей  
В небо отблеск бросаешь, на пламя похожий.

Мы ступаем на лед, он прозрачен и тонок,  
Но, влюбленные, знаю, в реке не утонут.

Я ушел бы с тобой под кору ледяную,  
Чтобы рыбку за хвост ухватить золотую.

Нам покуда добыть ее все не дано.  
Хоть мы тысячу раз опускались на дно.

*Перевел с идиш Юрий Иофе.*

### НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ХРОНИКА"

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ, выпуск 50, 1979 г., цена — 5.00; выпуск 51, 1979 г., цена - 5.00.

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР, выпуск 5, 1979 г., цена-5.00.

ХРОНИКА ЛИТОВСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, 1979 г., 245 стр., цена-8.00.

Александр Подрабинек. КАРАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. 1979 г., 192 стр., цена-7.00.

Также в продаже

Владимир Буковский. И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР... 1978 г., 384 стр., цена - 12.00.

Александр Некрич. НАКАЗАННЫЕ НАРОДЫ. 1978 г., 170 стр., цена - 7.00.

ПАМЯТЬ. ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК. Выпуск 1. 1978 г., 600 стр., цена -15.00.

СССР - РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ? Составитель В. Чалидзе. 1978 г., 166 стр., цена — 7.00.

Валентин Турчин. ИНЕРЦИЯ СТРАХА. СОЦИАЛИЗМ И ТОТАЛИТАРИЗМ. 1978 г., 296 стр., цена - 10.00.

Заказы направлять по адресу:

KHRONIKA PRESS  
505 EIGHTH AVENUE  
NEW YORK, NEW YORK 10018

Цены указаны в долларах.



И. ЕФИМОВ-МОСКОВИТ

## КТО ВИНОВАТ В СОЦИАЛИЗМЕ

О книге И. Р. Шафаревича "Социализм как явление мировой истории"\*

Эту книгу ждали давно. О ней ходили толки даже до появления ее в Самиздате.

— А что с Шафаревичем? — спрашивали иногда. — Что-то его совсем почти не слышно последнее время. Он не арестован?

— Нет, он на свободе, — отвечали знающие. — Пишет большую книгу. О том, что социализм — не новое явление, а существовал еще в Древнем Египте, в Древнем Шумере, у инков. То есть рассматривает социализм в общеисторическом масштабе.

— О, это интересно.

Действительно, — что может быть интереснее сейчас в плане историко-философском? Ведь социалистические страны, заявляющие, что они и есть реализация учения Маркса, высятся ныне перед всяким непредвзятым сознанием как наглядное опровержение основных постулатов марксизма.

— При социализме исчезнут внутренние раздоры, ибо не будет борьбы классов! — обещали нам основоположники. Чем

же тогда объяснить кровавые кошмары раскулачивания, чисток, депортаций целых народов, культурной революции?

— Прекратятся войны, ибо не станет поводов для войн! — Но что за стрельба доносится с границ между Китаем и СССР, между Вьетнамом и Камбоджей? Зачем советские танки врываются в Будапешт и Прагу?

— Эксплуататоров прогонят, все станут трудиться, прекратятся кризисы, и уровень производства необычайно возрастет!

Откуда же тогда хвосты очередей в социалистических странах, почему бумажные рубли не имеют никакой цены в мире, что это за корабли с пшеницей плывут в порты родины социализма из стран "загнивающего" капитализма?

Да, по Марксу всего этого не объяснить. Нужны, очень нужны другие модели, другие концепции. И люди с жадностью накидываются на каждую новую работу, в которой делается попытка вместить страшный опыт XX века в картину мировой истории, найти его глубинные связи с прошлым, заглянуть с его помощью в обозримое будущее. Именно такую задачу ставит перед собой книга Шафаревича, и именно поэтому читательский интерес — приемлющий или отталкивающий — ей обеспечен.

### КАК И ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД

В государстве упразднена частная собственность на средства производства.

Все стороны хозяйственной жизни строго регламентируются центральным правительством.

Личная жизнь каждого человека также регламентирована до последней степени.

Распределение продуктов труда, товарообмен происходят не через свободный рынок, а в соответствии с распоряжениями чиновной иерархии.

Всякая инициатива подавляется, свобода перемещений сведена к минимуму.

Религия преследуется и заменяется культом очередного владыки.

\* УМСА-PRESS, 1977, 380 стр.

Искусство находится в жалком состоянии, имеет, в основном, декоративное назначение.

Правящая, привилегированная каста резко отделена от управляемого населения, влачащего бедное, безрадостное существование.

О каком государстве идет речь?

Кажется, ясно: об СССР, Китае, Кубе и прочих порождениях XX века, именующих себя лагерем социализма.

Используя огромный исторический материал, Шафаревич убедительно показывает, что те же самые черты характеризовали жизнь Древнего Египта, Шумера, Древнего Китая, империи инков. Что и там вся жизнь государства подчинялась огромной бюрократической машине. Что центральная власть предписывала людям, когда сеять, когда жать, сколько обжигать горшков, в какие цвета красить ткани, а затем забирала весь продукт их труда и оставляла им лишь самое необходимое для поддержания жизни. Что рыночные отношения отсутствовали, а торговля объявлялась побочным занятием, которое надо искоренять. Что огромные армии работников перебрасывались из конца в конец империи для строительства гигантских сооружений, целесообразность которых была весьма сомнительна. Что малейшие попытки выразить недовольство условиями существования жестоко подавлялись, а за нарушение установленных порядков наказывали кнутом, палками, рабством или смертью.

**Нарисованная картина страшна, убедительна, но для человека, учившегося по марксистским учебникам, совершенно непривычна. В тех хронологических рамках, где он, в соответствии с вбитыми в его голову догмами, ждал найти рабовладельческий строй, ничего подобного не обнаруживается. Основную массу населения составляют крестьяне-общинники, которые трудятся либо на земле под присмотром писцов и судей, либо отправляются большими отрядами на дальние стройки под командой назначенных начальников. Мера их бесправия хотя и велика, но отнюдь не доведена до степеней рабства в общепринятом смысле этого слова. Общинники живут со своими семьями, в своих домах, никто не может их продать или купить, разлучить с родными, убить без суда. Они обязаны государству тяжелой трудовой и воинской повинностью, но все же не сведены до состояния рабочей скотины. И распоряжаются ими не помещики-рабовладельцы по праву лич-**

**ной собственности, а чиновники, которых центральная власть в любой момент может лишить их поста.**

**На что же все это похоже?**

**Да, аналогии с нашим временем всплывают неумолимо. Прикрепленные к земле крестьяне-общинники очень похожи на советских колхозников, лишенных паспортов, или на рабочих в КНР, приписанных к своим предприятиям. Писцы, жрецы и судьи, распоряжающиеся работами, — на секретарей райкомов и председателей колхозов. Наконец, вся система народного хозяйства без рыночных отношений, с громоздкой машиной учета, контроля и распределения продукции — на всем нам знакомое бесклассовое, передовое, спланированное социалистическое производство. Даже для малой прослойки рабов, которая существовала и в древних государствах, составляя где один, где два, а где и пять процентов населения, тоже находится вполне наглядный аналог: узники трудовых лагерей, зэки. (В Древнем Китае, например, рабов часто отправляли служить на самые опасные участки границы. Ну, а в наши дни их пошлют на урановые рудники или на "химию".)**

Конечно, Шафаревич не делает исторических открытий. Но он и не претендует на это. Как всякий исторический мыслитель, он имеет право пользоваться трудами профессиональных историков и возводить на почве открытых ими фактов здание своей концепции. Количество исторических книг, протудированных автором, впечатляет своим многообразием и широтой охвата. Обилие цитат в книге подчеркивает, насколько тщательно Шафаревич старается держаться исторической реальности, быть доказательным, не воспарять в сферу абстрактного умствования.

И тем не менее, два очень важных момента в жизни древнейших государств "социалистического" типа остались почему-то неосвещенными, хотя они имеют непосредственное отношение к теме книги.

Первый — характер земледелия тех времен.

Дело в том, что ни древние египтяне и шумерийцы в III тысячелетии до Р. Х., ни китайцы эпохи Чжао, ни древние инки и ацтеки не знали долгое время пахотной обработки земли. Все сельское хозяйство тех времен держалось на ирригации. А главный объем труда падал на строительство, ремонт и регулирование ирригационных сооружений. Поэтому привычного нам по более поздней истории понятия индивидуального вла-

дения участками земли просто не могло существовать. Человек, получивший в личную собственность плотину, шлюз, канал, приобрел бы опасную власть над тысячами жизней. В Египте весь Нил представлял собой систему гигантских сельскохозяйственных комплексов, обслуживание которых требовало очень высокой и централизованной организации больших трудовых армий. Так же обстояло дело и в Двуречьи, и в долинах китайских рек.

**Это, конечно, отнюдь не значит, что характер производства однозначно определил общественные отношения. При неизменной технике земледелия социальная структура всех этих стран изменялась в значительном диапазоне на протяжении их долгой истории. Так, в Египте, после изгнания гиксосов (середина II тысячелетия до Р. Х.) явно выступает мощный сектор частнособственнической экономики, владение землей и собственностью с правом продажи и передачи по завещанию, и даже с чиновников в эту эпоху собирают налог золотом, серебром, полотном, что указывает на наличие у них самостоятельных, независимых от казны источников доходов. И тем не менее, необходимость высокого уровня централизации при строительстве и эксплуатации ирригационных систем всегда служила деспотическим тенденциям оправданием, убедительным предлогом для распространения централизующего начала и на остальные сферы жизни.**

Точно так же и в наши дни общественному сознанию во всем мире начинает казаться опасным оставлять в частном владении, на полный произвол рыночной стихии такие сложные отрасли производства, как энергетика, добыча ископаемых, судостроение и самолетостроение, транспорт и тому подобное. Но если в одних государствах эта проблема решается осторожно, путем частичной национализации или передачи таких отраслей в ведение устойчивых корпораций, то в других, более отсталых странах, необходимость индустриализации используется экстремистскими политическими группировками как аргумент для распространения тоталитарного принципа на всю социальную жизнь.

И несмотря на то, что весь мир уже знает, каких жертв стоил Беломоро-Балтийский канал или золотосные прииски Колымы, чем обернулась кукурузная эпопея Хрущева, малые домны председателя Мао или сахарная штурмовщина Фиделя Кастро, "неизбежность перехода к социализму" про-

должает гипнотизировать даже образованных людей, и аргумент этот, усиленный их красноречием, оборачивается то Эфиопией, то Анголой, то Камбоджей.

Второй важный момент, не освещенный в книге Шафаревича,— разница во внешне-политическом положении Древнего и Нового социализма.

При всей жестокости и деспотизме древние царства оставались все-таки островами цивилизации посреди моря варварства и дикости. Вся их внешнеполитическая жизнь сводилась к бесконечной борьбе с кочевниками. Великая Китайская стена отличается от Берлинской стены, главным образом, тем, что поначалу она была создана действительно для защиты от нападающих, от гуннов, а не для удержания в рабской покорности своих. Мы можем осуждать правящую касту древних египтян, шумерийцев, инков, китайцев за бесчеловечное отношение к подданным, но только с современной, общегуманной точки зрения. Никакого более свободного и цветущего общества тех времен поставить им в пример и упрек мы не сможем.

**В этом плане интереснее было бы рассмотреть историю более поздних аналогов современного социализма, например, историю Спарты. В этом греческом государстве мы найдем все характерные черты, выделенные выше: отсутствие денег и рыночных отношений, полное господство правящей касты спартиатов над илотами и пенестами, крайне низкая производительность труда, общая бедность, жалчайшее состояние искусства и вообще духовной жизни. Но плюс к этому жизнь Спарты характеризовалась строжайшей изоляцией от внешнего мира и особенно от опасного примера цветущих демократических государств Древней Эллады. Ликург в своих законах запретил "выезжать за пределы страны и путешествовать из опасения, как бы не завезли в Лакедемон чужие нравы, не стали подражать чужой неупорядоченной жизни и иному образу правления"\*.** Для полноты сходства с современным лагерем социализма можно вспомнить военную мощь Спарты и замечательные успехи ее атлетов на Олимпийских играх.

\*Плутарх, том 1, стр. 74, М. 1961 .

### СОЦИАЛИСТОВ И ЕРЕТИКОВ — В ОДИН КОСТЕР!

Если бы книга Шафаревича начиналась с описания древних прообразов социалистических государств (которое отнесено во вторую часть), внутренний строй ее был бы логичнее и ход авторской мысли более понятен.

Но, к сожалению, она начинается с другого: с разбора социалистических устремлений, проявлявшихся в истории христианских ересей, и с обзора важнейших социалистических утопий от Платона до Фурье.

Автор ставит своей целью доказать, что и еретики, и социальные философы как на деле, так и на словах, вольно или невольно стремились к одному и тому же: к созданию тоталитарного общества. "Нам представляется, — пишет Шафаревич, — обоснованным вывод, что социализм как единое историческое явление — существует. Его основные принципы:

Уничтожение частной собственности.

Уничтожение семьи.

Уничтожение религии.

Равенство, уничтожение иерархии в обществе".

Под этим углом и идет пересмотр истории средневековых ересей. Правда, к рассмотрению почему-то принимаются далеко не все.

Любой учебник истории скажет нам, что главнейшими врагами католической церкви в Средние века, самыми страшными еретиками были Джон Виклиф в Англии, Ян Гус в Чехии, Жан Кальвин в Швейцарии, Мартин Лютер в Германии, Джон Нокс в Шотландии. Эти люди всю свою жизнь отдали борьбе против того, что им представлялось грехопадением господствующей церкви, отходом ее от Слова и Духа Библии, попранием Божественных истин, возвещенных миру Христом. Они действовали открыто, все их мысли, призывы, проповеди, дела хорошо известны нам, потомкам. Казалось бы, с этих главных деятелей и должен начать разговор исследователь, взявшийся пересматривать историю ересей.

Однако, нет, — ни один из них в книге Шафаревича не рассматривается. Почему? Скорее всего, потому, что ни один из

них не выступал за уничтожение собственности, семьи, религии или за поголовное равенство. Ни один из них не укладывается в заданный тезис (еретики — социалисты), а потому их присутствие в истории игнорируется.

Зато все внимание отдано самым крайним группировкам эпохи Реформации, доходившим в своих лозунгах до декларации полного равенства, а в делах — до убийства, погромов, грабежей, пьяных оргий, кощунственных бесчинств. Они-то и объявляются главными носителями еретического духа, открывающими нам его чудовищную социалистическую сущность.

**Да, спору нет, — террор, развязанный Дольчино в Италии, Томасом Мюнцером в Мюльхаузене, анабаптистами Иоганна Лейденского в Мюнстере, ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Сексуальная распущенность, декларировавшаяся некоторыми крайними сектами, кощунства, погромы церквей и художественных коллекций тоже не найдут защитников среди цивилизованных людей. Если бы в поле зрения Шафаревича попала интересная книга Крайстофера Хилла "Мир вверх ногами", он мог бы почерпнуть из нее еще множество примеров религиозного, политического и этического экстремизма, вскипавшего на поверхности Английской революции 1640—60 годов.**

Но позволительно ли серьезному исследователю выставлять именно эти извращения и кровавые эксцессы главными и определяющими чертами Реформации? Справедливо ли на протяжении всей книги не сказать ни слова о морях крови и слез, пролитых всесильным врагом еретиков — католической церковью? Допустимо ли использовать в качестве исторических свидетельств брань, проклятия и обвинения, которыми осыпали друг друга противники в пылу борьбы?

**Нет, объективности ради Шафаревич упоминает, что еретик Лютер считал еретика Томаса Мюнцера чудовищем и многократно публично разоблачал его. Но в ткани повествования эти упоминания занимают несколько строк, а описания злодейств и пороков Мюнцера — 14 страниц. На странице 53 сообщено, что возникшая среди гуситов крайняя секта адамитов была истреблена по приказу вождя гуситов Яна Жижки. Но, конечно, это сухое сообщение в две строчки не может вытеснить из читательского сознания подробного описания людей, расхаживающих на своих собраниях голыми, хватающих любых приглянувшихся им женщин и радующихся тому, что "скоро кровь затопит мир по уздечку коня".**

Еретические движения, допускаящие, в отличие от папства, свободу проповеди, естественно, вовлекали в свои ряды всех доморощенных, самозванных и даже полубезумных проповедников Слова Божия. И на этом основании движения эти можно полностью дискредитировать? Но почему бы тогда не объявить Швейцарию XIX века родиной анархии — ведь давала же она приют итальянским анархистам. Или сегодняшнюю Америку — фашистским государством, на том основании, что там ходят на свободе несколько тысяч поклонников свастики.

Вообще картина Европы XIII-XVII веков выглядит в изображении Шафаревича примерно так: течет нормальная, мирная жизнь, Богом утвержденная католическая церковь неустанно заботится о спасении христианских душ, Богом данные князья и правители отечески правят своими подданными, и только время от времени эта тишь да Божья благодать взрывается кроваво-злодейскими выступлениями предтечь нынешнего социализма — еретиков.

Нет ни крестовых походов, ни пыток, тюрем и костров инквизиции, ни Торквемады, ни герцога Альбы, ни торговли индульгенциями, ни процесса тамплиеров, ни Варфоломеевской ночи, ни сотен тысяч евреев и морисков, погибших при изгнании из Испании, ни миллионов индейцев, уничтоженных христовым воинством в Америке.

Оказывается, это не толпы жадных грабителей накидывались из года в год, под знаком креста, на цветущие графства Южной Франции (альбигойские войны, 1209—1227), а злые катары, нашедшие там приют, провоцировали честных христиан бросать свои дела и с индульгенцией в кармане спешить на искоренение ереси. Не в этих походах, не командирами в рясах был выброшен знаменитый лозунг: "Убивайте всех — Бог отличит своих от чужих".

Нет, не церковь объявила в 1419 году крестовый поход против непокорной Чехии, потребовавшей свободы проповеди, причащения хлебом и вином (как испокон века причащались их отцы, да и весь христианский мир), отнятия у церковнослужителей светской власти. Не стотысячная армия

крестоносцев вторглась в Моравию и Богемию в 1420 (не хуже, чем в 1968) под командованием императора-клятвопреступника Сигизмунда, отдавшего, вопреки обещанию, в 1415 году Яна Гуса на костер. Не разноплеменные захватчики врывались туда снова в 1421 и 1431, а свирепые гуситы, распаленные социалистическими и еретическими идеалами, почему-то так невзлюбили благочестивых пришельцев, что перенесли опустошительную войну на их земли.

Таким образом, огромная, прекрасно организованная машина церковной иерархии, в течение многих веков занимавшаяся утверждением своей власти на крови и муках невинных жертв, остается незамеченной. Главным злом эпохи объявлены разрозненные попытки противостояния безграничному произволу, причем, именно попытки, принявшие наиболее уродливые, насильственные формы.

За что же такая немилость на головы еретиков?

Да за то, дескать, что они призывали к уничтожению частной собственности, семьи, религии и неравенства, то есть к социализму. А мы в нашем XX веке знаем, чем все это может обернуться, и поэтому вправе считать, что все костры, виселицы и плахи, которыми боролась церковь с этими чудовищами, были оправданы. И так же, видимо, оправданы любые методы полемики, которые мы применим в борьбе с этим злом.

О первом методе — сдвиге масштабов — уже говорилось выше. Злодейства еретиков — крупным планом, злодейства господствующей церкви — мельчайшим. "Массовые преследования анабаптистов, сопровождавшиеся страшными жестокостями, привели к спаду воинствующих и социалистических настроений". И все. Даже испытываешь облегчение — воинствующие настроения утихли. Вот и хорошо.

Другой метод — умолчания. Очень много говорится о том, как руководящие группы еретических сект учили, что "добро должно быть общим..., создавали правила по части платья..., еды, питья, сна, отдыха, стояния и хождения", призывали к безбрачию. Но если уж выдавать это за ненависть к частной собственности, семье и индивидуализации личности, то поче-

му не упомянуть, что именно такими правилами — передача всей собственности монастырской общине, единообразие одежды и правил поведения, безбрачие — характеризовалась жизнь в с е х монашеских орденов самой католической церкви? Уничтожение икон и статуй в церквях часто подносится как ненависть к религии. Но нигде не говорится, что те же самые люди шли ради своих религиозных идеалов на костер. Или, что изображение Божества во всех его ипостасях отвергнуто именно теми — протестантскими — ответвлениями христианства которые стали духовной основой стран, решительно отвергнувших социализм в XX веке. Наконец, ни разу не поднят вопрос: почему же ересь, восторжествовавшая в Чехии, Швейцарии, Голландии, Англии, Дании, Норвегии, Швеции, нигде не отменила частной собственности, семьи, религии?

Третий метод, применяемый Шафаревичем для доказательства своего тезиса, — сдвиг понятий. Всюду, где можно и нужно сказать "ненависть к господствующей церкви", будет сказано "ненависть к религии", атеизм.

**Уинстенли гневно пишет об англиканских епископах и дьяконах — сказано "о христианстве". В английской протестантской революции заметной силой была партия, сторонникам которой враги их дали кличку "левеллеры" — уравниатели. Они, по словам Шафаревича, призывали к поголовному равенству. Так как рядом много говорится о маленькой группе "диггеров", требовавших отмены частной собственности на землю, читатель должен подумать, что и левеллеры требовали того же. На самом деле они всячески открещивались от диггеров. Их программа включала в себя равенство перед законом и равное избирательное право для мужчин старше 21 года. То есть основные принципы демократии, как мы ее теперь понимаем. При этом вожди левеллеров в большинстве своем были собственниками и людьми глубоко верующими.**

Наконец, четвертый метод — псевдодокументальность. Поток цитат, вырванных из контекста ради доказательства тезиса "еретики — социалисты — злодеи", должен захлестнуть читателя, заморозить, подавить, наполнить сознанием своей ничтожности перед огромной начитанностью и эрудицией автора. В увлечении "документальностью" Шафаревич доходит до того, что спокойно, как на что-то само собой разумеющееся-

ся и дозволенное, ссылается на страницах 40—42, 46, 48, 80 и многих других на протоколы допросов инквизиции. То есть на слова людей, сказанные под пыткой. На вопли, исторгнутые дыбой, плетью, испанским сапогом, раскаленным железом, голодом, жаждой, бессонницей. Ссылается спокойно, как на правомочный исторический документ.

Есть от чего прийти в отчаяние.

Если честный, смелый, образованный, мыслящий человек может в наши дни привлекать в качестве беспристрастных свидетельств протоколы допросов инквизиции, это значит, что мы ни от чего не застрахованы. Что весь страшный опыт нашей эпохи тоже может пройти бесследно. Что каких-нибудь 50 лет спустя появится историк, который всерьез будет изучать еврейские ритуалы с использованием крови христианских младенцев по черносотенным газетам начала века (тоже ведь документ). Или работу европейских разведок по речам прокурора Вышинского и признаниям Рыкова, Каменева, Зиновьева и прочих. Или ситуацию в советской агрономической науке по показаниям Николая Вавилова, хранящимся в архивах НКВД-КГБ.

## ФИЛОСОФЫ ДОБОЛТАЛИСЬ

Много места в книге отведено описанию проектов идеальных государств, сочинявшихся на протяжении мировой истории. Утопии Платона, Томаса Мора, Кампанеллы, Джерарда Уинстенли, Дешана, Фурье и им подобные изучены и разобраны Шафаревичем очень детально. Действительно, в них очень много общих черт. Действительно, насилие над человеческой природой ради создания царства сытого единообразия — главный компонент всех этих прожектов. Действительно, социалистический принцип уравнивания всех людей по имущественному признаку настойчиво повторяется в них, так же как унификация жилищ, одежды, распорядка дня, как общие трапезы, изгнание искусств, подавление индивидуальности. Действительно, одно воображаемое государство отличается от дру-

гого лишь видами казней и шкалой наказаний. И действительно, ни в одном из них жить бы ни в коем случае не хотелось.

Автор на всех этих примерах убедительно показывает нам, что всякий последовательный ум, начав с применения социалистических принципов, неизбежно придет к жестко централизованному тоталитаризму. Что без отлаженной и мощной машины подавления человека не удержать в "земном рае", в "хрустальном дворце".

Но автору этого мало. Ему еще хочется доказать, что создатели знаменитых утопий были людьми дурными, злонамеренными, о благе человечества отнюдь не помышляющими, А главное — антирелигиозными.

И снова историческая правда приносится в жертву тезису.

**Глубочайший идеализм Платона Шафаревич, конечно, не оспаривает, но говорит, что у него "религия не ставит целей государству, а играет охранительную и педагогическую роль". Фраза так повернута внутри контекста, чтобы читатель мог прочесть "сводится к педагогической роли".**

"Томас Мор отказался принести присягу королю (Генриху VIII) как главе вновь созданной англиканской церкви, был обвинен в государственной измене и в 1535 году обезглавлен. Четыре века спустя, в 1935 году, католическая церковь приняла Мора в число своих святых". И вот об этом человеке, отдавшем жизнь за принципы и догматы своей веры, насколько страниц спустя говорится, что он "прохладно относился к религии и церкви" и что "позволял себе ироническое отношение к христианству".

**Доминиканский монах Кампанелла, у которого в "Городе Солнца" правит священник, а посреди города стоит храм, тоже, оказывается, не совсем правильный христианин и далекий от религии мыслитель. А уж Джерард Уинстенли объявлен попросту чуть ли не Богоборцем. О многократных выражениях пламенной любви этого человека к Христу-Спасителю, о пронизанности всех его писаний горячей верой не сказано ни слова-**

Ради чего же нужно допускать такие искажения? Разве не проще, не доказательнее для главной идеи книги было сказать: даже люди такого духа, как Платон, Мор, Кампанелла, Уинстенли оказывались нестойкими перед бациллой социалистических идей, даже их увлекало за собой это наваждение.

Но нет, так сказать нельзя.

Ибо тогда придется признать, что социалистические тенден-

ции живут не злой волей безбожников, протянувших свой заговор через века и континенты, но что они могут корениться и в самых лучших, самых бескорыстных и человеколюбивых устремлениях и уживаться с глубокой и искренней религиозностью. Не в этом ли и кроется разгадка их поразительной живучести, распространенности и опасной привлекательности для столь многих?

Нам, людям XX века, главным злом в мире, главным врагом человека представляется всесильный, давящий, безжалостный тоталитаризм. К создателям перечисленных утопий мировое Зло подступало совсем в другом облике — в облике Анархии.

Платон вырос в эпоху Пелопонесской (в масштабах Античного мира — мировой) войны. На его глазах демократия в Афинах, выродившаяся во власть черни, присуждала к изгнанию и конфискации имущества сотни достойных граждан, к изгнаниям и казням — лучших своих полководцев, присудила к смерти любимого учителя — Сократа; вынудила самого Платона покинуть отечество. Зависть, жадность, жестокость бушевали вокруг него с неодолимой силой, и конца этому не было видно. Так мог ли философ перед лицом этой необузданной, вырвавшейся из-под контроля стихии продолжать с доверием относиться к человеческой природе? Мог ли в проекте своего Государства оставить хоть что-то на произвол и усмотрение отдельной личности?

Томасу Морю было семь лет, когда в Англии закончилась опустошительная гражданская война (Алой и Белой роз), длившаяся тридцать лет. По Италии, Испании, Франции, Германии кровопролитный раздор, вскипая, прокатывался почти ежегодно.

Любой ясный ум, задумываясь над источником и причиной этого бескрайнего человеческого самоистребления, не мог не увидеть, с какой силой действовала на души людей жажда власти и жажда богатства. Будучи государственным мужем, профессиональным юристом и реальным политиком, Томас Мор не вынашивал дикой идеи — отмены собственности. Его "Утопия" представляет собой игру ума на тему, заданную

сострадательным сердцем: можно ли устроить общественный порядок, в котором человеческая душа была бы ограждена от соблазнов жадности, корысти, зависти, властолюбия путем передачи всех благ в общее пользование? И по завершении труда автор оглядывает получившуюся картину не с гордостью, а с печальной иронией: один из собеседников, обсуждающих "счастливую" Утопию, говорит, что жить бы ему там не хотелось. Но, тем не менее, интерес к книге Мора будет возрождаться снова и снова, пока жив на земле раздор.

Можно очень сильно сердиться на социальные утопии и не любить их авторов.

Можно справедливо упрекать их за то, что в порыве человеколюбия они проектировали такое общественное устройство, которое требует отказа от главного свойства нашей души — от жажды свободы.

Но, оставаясь непредвзятым исследователем, нельзя отождествлять их со зловещими фигурами политических экстремистов, взваливать на них ответственность за все преступления, совершенные под маркой строительства социализма, а главное, доказывать их неприменимую бездуховность, безрелигиозность.

Ведь речь здесь идет не просто о том или ином взгляде на историю, но в какой-то мере и о нашей собственной судьбе.

Создатели социалистических утопий, ища спасения от анархии военных междуусобий и рыночной стихии, проектировали убежище для страждущего человечества и не замечали, что у них получается не что иное, как тюрьма. Нам ясны их заблуждения, но было бы в высшей степени опасно, отвергая заблуждения, отвергнуть и исторический опыт, их породивший. Если сочиняемые государства казались их авторам совсем не страшными по сравнению с тем, что творилось вокруг них, возможно, то, что творилось, было поистине ужасающим. И если мы забудем об этом, то в своих попытках вырваться из реальной современной социалистической тюрьмы рискуем, даже в случае удачи, попасть из огня тотального деспотизма в не менее тягостное полемя тотальной анархии.

### "ОБНЯВШИЕСЯ КРЕПЧЕ ДВУХ ДРУЗЕЙ..."

Нужно отдать должное Шафаревичу: своего главного врага — марксизм — он изучил досконально. На огромном конкретном материале сочинений и писем Маркса-Энгельса он показывает, что небывалое по своим масштабам избиение людей, произведенное в XX веке под сенью теории классовой борьбы, не было ни отклонением, ни извращением учения, что оно заложено в их писаниях и открыто проповедуется там. Научная несостоятельность марксизма, полный крах всех его пророчеств так же раскрыт весьма убедительно. Тонко подмечена постоянная двусмысленность марксистских текстов, распадение их на программу захвата власти (конкретная и безжалостная) и программу построения коммунистического общества (расплывчатая и густо окрашенная натужным человеколюбием). Особенно хорошо это раскрыто в недавней статье И.Р. Шафаревича "Аръегардные бои марксизма"\*.

Но, видимо, прочтение такого количества дурных книг не может пройти бесследно. Борясь с чумой, всякий рискует заразиться. И эта зараженность марксистскими представлениями и марксистской методологией проступает во многих аспектах сочинения Шафаревича. Рассмотрим некоторые из них.

1. Окидывая взглядом мировую историю, марксизм накладывает лапу на многие культурные эпохи, заявляя: "Это — мое!" И Шафаревич, вместо того, чтобы оспорить права самозванного наследника, признает их за ним. Он отдает марксизму и эллинизм, и ренессанс, и реформацию, и Век просвещения, а дальше берется за невыполнимую задачу: очернить все созданное в эти периоды. ("Противник объявил территорию своей? Выжжем ее дотла".) Но не так ли поступает и марксизм с культурой "эксплуататорских классов"?

2. Идеи социальной справедливости, объединявшиеся термином "социализм", к началу XX века завоевали такую попу-

\*"Вестник РХД" № 125, 1978.

лярность, что многие политические направления стали пытаться включать это слово в свою официальную риторику. Фашизм в Германии назвал себя национал-социализмом, русский большевизм тоже предпочел назвать свое государство социалистическим, а не коммунистическим. Непопулярный коммунизм Маркса спрятался за ширму социализма, но и эту подмену Шафаревич не находит нужным оспаривать. Смешивая "всех красных" в одно, он как бы соглашается с пропагандистским трюком, утверждающим, что коммунисты — просто самые последовательные социалисты. То есть, по сути, отказывается видеть разницу между кремлевскими заправилками с одной стороны и Кэллахэном, Брандтом, Крайским и прочими лидерами современной социал-демократии — с другой.

3. Марксистские историки — великие мастера переписывать историю на свой лад, подгоняя ее под догмы диалектики и классовой борьбы. Их главная задача — доказать, что все развитие человечества было движением в сторону социализма-коммунизма. Так как Шафаревич в значительной мере разделяет эту теорию (только с негативным отношением), он и выбирает их в качестве главных проводников по историческим лабиринтам.

**Количество марксистских трудов в библиографическом списке просто удручает.**

**Историки из ГДР помогают автору осветить средневековые ереси. Историки из ЧССР — гуситские войны. История Древнего Китая предстает перед нами такой, какой ее пытались изобразить Го Мо-Жо и советские историки сталинской поры. Английская революция дается не в свете работ таких классиков, как Гардинер или Гизо, а с точки зрения марксистов Бернштейна и Холлореншоу. Даже памфлеты Уинстенли разобраны не по полному английскому изданию (Шафаревич владеет английским и книга есть в московских библиотеках), а по тенденциозным и выборочным переводам советского сборника\* в которые не включены, естественно, многие отрывки, рисующие автора пламенным христианином.**

4. Марксизм рассматривает "классовые интересы", то есть попросту корысть, как главную движущую силу истории.

Идеальные мотивы, двигавшие людьми, вообще не берутся в расчет, осмеиваются. И у Шафаревича тоже нередко можно встретить такой подход.

**"Дворянство южной Франции активно поддерживало секту (катаров), видя здесь шанс поживиться церковными землями". Иными словами, жители Тулузы и Лангедока в течение почти двадцати лет (1209—1227) сражались с незванными пришельцами не за свои религиозные идеалы, не за нашедших у них приют катаров, даже не за собственную свободу и независимость, как это воображали буржуазные историки. Нет, оказывается ими двигала жадность к церковным землям.**

**"Как мог ничтожный проповедник (Мюнцер) поучать и грозить влиятельнейшим князьям империи? Иногда в этом видят близорукость Мюнцера, иногда — долготерпение князей. Нельзя ли найти более весомую причину? Мюнцер был тогда силой, и с ним надо было считаться". Мысль о том, что князья — тоже люди и могли склониться на сторону веротерпимости, и пытались сдерживать свой гнев ради сохранения принципа свободы проповеди, не допускается. Ведь это же будет идеалистическое, "невесомое" толкование.**

5. Марксизм считает, что мир двигался от рабовладельческой эпохи к социалистической за счет развития производительных сил и классовой борьбы. Шафаревич считает, что мир на обозримом участке человеческой истории двигался от социализма древнего, примитивного к социализму современному, основанному "на разработанной, выковывавшейся тысячелетиями идеологии... Развитие хилиастического (то есть еретического и утопического) социализма, потребовавшее 2,5 тысячелетия..., является мостом, который соединяет два типа социалистических обществ... Существование современных социалистических государств было бы невозможно без идеологии, созданной хилиастическим социализмом... Создание этой идеологии было почти исключительно делом Запада..." То есть на протяжении 2,5 тысяч лет художникам, поэтам, мыслителям, проповедникам, жившим на Европейском материке, только казалось, что они напрягают свои духовные силы, пытаюсь отыскать Истину, Справедливость, Красоту, Бога. На самом деле, всеми своими творениями, речами и даже страданиями они готовили только одно — приход сталинщины и маоизма. (Да ведь и что с них взять? Надстройка!)

\* Д. Уинстенли. Избранные памфлеты. М.—Л. 1950.

## ОТКУДА ВЫРАСТАЕТ СОЦИАЛИЗМ?

Шафаревич отвечает на этот вопрос однозначно: из мистической тяги человечества к смерти.

В доказательство такого парадоксального утверждения он снова приводит множество цитат из высказываний и писаний революционеров всех мастей, террористов, анархистов, утопических философов, воинствующих еретиков, современных левых. При этом используются все те же приемы: смещение масштабов (о теме гибели человечества, конце мира у социалистов — целая глава, о той же теме в христианстве — один абзац); вырванные цитаты ("Ведь с—р. без бомбы уже не с—р." — эти слова Каляева приводятся, но взяты они из книги Б. Савинкова "Записки террориста", где очень много говорится о любви того же Каляева к Христу); умолчания (некрофильские настроения Маркузе — подробно, а о вопящей "жизнерадостности" пропаганды соцстран, о любви их цензуры к "жизнеутверждающим" произведениям — ни слова).

Спору нет, мрачное сладострастие убийства и тотального разрушения пронизывает умонастроение многих крайних ниспровергателей. Играя на разрушительных инстинктах толпы, можно завлекать массы в пропасть кровавых революций. Но можно ли выстроить на этом прочный, устойчивый деспотизм?

Нет. Духовную опору длительный, стабильный деспотизм всегда находит только в одном — в страхе перед свободой.

Но Шафаревич, досконально изучив формы, приемы и обличья политического деспотизма, постоянно помня о страданиях и гибели, которые он несет людям, нигде, ни разу не упоминает об опасностях и тяготах свободы.

А между тем, свобода есть благо, которое далеко не каждому человеку и не каждому народу по силам.

Ибо свобода экономическая неизбежно приводит к возникновению имущественного неравенства, ложащегося тяжким грузом зависти на души обделенных.

Свобода личная, связанная с неприкосновенностью жилища, тайной переписки и бесконтрольностью разъездов, облегчит деятельность всевозможных мафий и банд террористов.

Свобода духовная неизбежно подразумевает открытое проявление даже антиобщественных и антирелигиозных на-

строений, которые в людях порядочных и верующих будут вызывать глубокое и естественное возмущение.

Свобода политическая должна включать в себя и свободу пропаганды самых крайних и опасных взглядов, иначе — какая же это свобода?

Англия и Швейцария не потому давали приют Марксу, Бакунину и Ленину, что им по душе был их политический экстремизм, а потому, что принцип свободы слова там свято охранялся. Точно так же и Реформация защищала крайние религиозные секты не потому, что их идеи были ей сродни, а потому, что превыше всего она ставила принцип свободы проповеди, веротерпимость.

Однако для пользования свободой нужна духовная зрелость, которая обретается не вдруг. На многих примерах убедились мы — люди XX века — как опасно бывает обретение свободы народом, к ней не готовым. На наших глазах крушение империи в Китае вылилось в долгую гражданскую войну и закончилось Мао-Цзе-дуном. Февральская революция 1917 года в России расчистила дорогу большевикам. Демократические порядки Веймарской республики дали возможность гитлеризму захватить власть в Германии. Демократизация в Италии 1919 года привела к власти Муссолини. Колониальные народы Африки и Азии начинали свое самостоятельное государственное существование под видом демократий, и через 2—3 года все, один за другим, попадали в лапы тех или иных диктатур.

Но вправе ли мы на основании всех этих примеров проклясть самый принцип свободы?

Все, что мы можем сказать: народы эти не выдержали испытания свободой, оказались несозревшими для нее. И чем больше была степень их незрелости, тем жестче тиски деспотизма, в который они попадали. Предельным выражением страха перед свободой, выразившемся в уничтожении свободы экономической, личной, духовной, политической, и явился современный государственный социализм в том виде, в каком он был реализован странами коммунистического блока.

Однако при таком взгляде на корни социализма окажется, что ереси, утопическое философствование, Античность, Ренессанс, Просвещение ни в чем не виноваты, — а значит, Шафаревич принять эту точку зрения никогда не сможет.

Тем не менее, заканчивая рецензию, я хочу подчеркнуть: нет никакого сомнения, что книга Шафаревича написана из самых честных побуждений, что она представляет собой цельное мировоззрение. Это мировоззрение выношено автором в условиях мужественного противостояния небывалому духовному гнету, стремящемуся вытеснить из человеческого сознания самую способность мыслить, сомневаться, искать. Он громит своего противника не из безопасного далека, но находясь в полной его власти, сознавая ежеминутную возможность обыска, ареста, высылки, бандитского нападения.

Книга Шафаревича вводит в обращение широкий круг исторических трудов и идей, до сих пор мало известных русскому читателю. В ней много мыслей глубоких, верных, отражающих тонкую историческую интуицию автора, органичность его политико-философского мышления, умение переживать историю не в цифрах, но в картинах и образах. Именно поэтому с такой горечью воспринимаешь жертвы, постоянно приносимые его умом чувству. В данном случае — чувству безоглядной вражды ко всему, что коммунизм объявляет, и часто без всяких на то оснований, своим.

Любая научная деятельность нуждается в свободном обмене идеями, в открытом столкновении взглядов, в публичных дискуссиях, конференциях, полемиках. Естественно, политический мыслитель, живущий в сегодняшней Москве, ничего подобного позволить себе не может. Он должен вести работу втайне, не привлекая излишнего внимания властей, чтобы не дать им повода ворваться с ордером на обыск и помешать завершению большого труда. Лишь после выхода книги в свет можем мы начать диалог с автором. Солидарность с И.Р. Шафаревичем в самом главном — в решительном неприятии духовной атмосферы стран советского блока — внушает надежду, что диалог этот может быть плодотворным.

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ  
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

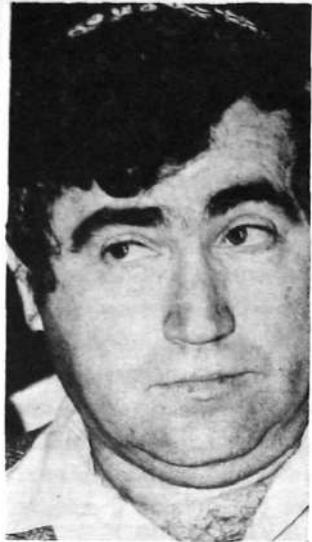
**НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО**  
*под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ*  
*69 год издания*

Подписная цена на 1 год 70 долларов  
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное  
издание 180 долларов.

**Чеки выписывать на имя:**  
**"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"**  
**и направлять по адресу:**  
**243 WEST 56 STREET**  
**NEW YORK, N. Y. 10019, USA**

*В Новом Русском Слове сотрудничают  
лучшие литературные силы эмиграции.  
Газета имеет собственных корреспондентов  
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*



Звулун ХАМЕР

## НУЖНА ЛИ ЧУЖАЯ МУДРОСТЬ?

*Кто боится еврейского воспитания*

Было бы очень несправедливо отнять у большинства учащихся Израиля возможность непосредственного знакомства с нашими беспредельно богатыми духовными сокровищами. Было бы ошибкой унижаться перед чужими учениями и мудростью и во имя свободы и прогресса не положить в основу нашей воспитательной системы еврейское духовное наследие и культуру — те идейные ценности, которые бы определили мировоззрение и образ жизни личности и общества. Было бы опасно и вредно не вооружить наших учеников соответствующими знаниями, которые помогли бы в решении как проблем духовных, так и материальных.

Мы — народ, находящийся во враждебном окружении, под тяжелым политическим и военным давлением. Мы должны быть готовы к тяжелым испытаниям и высокому самопожертвованию. Между тем, до сих пор находятся такие, которые ставят под сомнение нашу связь с Эрец Исраэль. Именно все это нас обязывает формировать образцовый народ. Наш долг — воспитать молодежь, корни которой глубоки и силь-

ны, молодежь, которая не поколеблется перед трудностями, подобно листьям, уносимым чужими ветрами.

Мы должны воспитать наших дочерей и сыновей так, чтобы они знали, кто мы и в чем цель нашего пребывания здесь, чтобы не было у них сомнений относительно нашего долга и предназначения, чтобы их связь с наследием Эрец Исраэль и народом Израиля была крепкой и нерушимой.

Сегодня имеются явные признаки отрезвления и духовного пробуждения народа. Есть стремление выйти из кризиса отчужденности, из бездны наркотиков, прорвать все более замыкающийся круг узкого материализма и подражания чужому, роковой пустоты и несправедливости. Наблюдается стремление возвратиться к нашим историческим ценностям — скромности и благодеяниям, которые всегда были присущи еврейскому народу. Есть жажда познать наши славные традиции; по словам пророка Амоса: "Не хлеба жажду, не воды, но жажду слышать слова Господни".

Крепнет чувство, что мы находимся на пороге обновления, на пороге нового строительства нашей страны, но велика еще опасность ассимиляции, отречения от самих себя и обольщения чужими учениями.

Еврейская национальность зиждется не на отрицательных факторах, не на противостоянии антисемитизму и арабской угрозе, она коренится в ценностях развивающегося еврейского общества. Поэтому так важно создать воспитательную систему, способствующую идентификации с нашим прошлым. Не промывание мозгов, не духовное наставничество, но знание и понимание истории — вот важнейший фактор воспитания. Необходимо знание истоков: знание, откуда ты пришел, и тогда ты сможешь со спокойной совестью решить, куда необходимо идти.

Не об археологии и музейных редкостях идет речь, давайте станем лицом к лицу с живыми ценностями, будем рассматривать себя как участников событий и переживаний прошлого. Без переживания прошлого — велика опасность ассимиляции и потери национальной особенности. Такие вопросы нашего существования, как алия и ерида, как наш долг

перед страной, как необходимость тяжелых жертв, — все эти вопросы не могут найти ответа без ощущения глубокой связи между нашим прошлым, настоящим и великими задачами будущего.

Замечательное дело строительства новой страны уже знало внутреннее обновление, было обновление земли, халуцианского движения, сельского хозяйства. Было также обновление жизни и чести еврея после гитлеровской Катастрофы. Мы доказали, что жизнь евреев не может стать объектом безнаказанных злодеяний, а их спасение и защита в руках израильской армии. Теперь пришел час третьего обновления, в котором, по словам раввина Кука, сочетается "святость гения" с "героизмом бойца", еврейская духовность с порывом активности, служения и халуцианства.

Есть у нас великий народ, богатая культура, духовные и моральные ценности, славные человеческие образы и исторические события, полные смысла. Но все это остается для многих книгой за семью печатями. Поднимем же завесу и раскроем все эти тайники для того, чтобы изучать наше прошлое, изучать осмысленно и в тесной связи с современностью. Познаем самих себя, нашу сокровищницу, нашу миссию на земле. Этот зов обращен к нашему поколению стать лицом к лицу с наследием прошлого, реализовать наше тяготение к еврейству, познать преемственность нашей истории и ее своеобразие, делая все это без принуждения, по доброй воле и по любви.

Жизненная необходимость — связать корни и истоки с идеалом и действительностью. Великое наследие — с каждодневным делом и поведением. Наше общество нуждается в реформе системы воспитания призвана нам помочь.

*("Едиот ахронот" сокращенный перевод).*



Михаил ХАРСГОР

## МИНИ-ИЗРАИЛЬ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ

На первый взгляд трудно не согласиться со статьей министра просвещения Звулуна Хамера. В самом деле, кто может бояться еврейского воспитания в еврейском государстве? Разве итальянцы в Италии боятся национального воспитания? Хотя всякий, кто разбирается в этом вопросе, знает, что есть итальянское гуманистическое воспитание, связанное с культурой Ренессанса и антифашистской борьбой, и есть воспитание националистическое, фашистское, основанное на раздувании шовинистического угара и подготовке к войне.

Лично я — за еврейское воспитание, неразрывно связанное с нашим прошлым и настоящим. Однако министр Хамер спешит заявить: "Было бы ошибкой унижаться перед чужими учениями и мудростью". При этом он не объясняет, что же имеется в виду, и это, естественно, настораживает. Приходит в голову мысль о чуждой цивилизации, культуре поклонников звезд, огня и т.п.

Но если Хамер подразумевает культуру Запада, то будет ли верным причислить ее к чужим учениям и мудрости? Кому

не известно, что эта культура во многом берет свое начало из еврейских источников, — ведь само христианство сформировалось под их влиянием, — а еврейские гении Спиноза, Маркс, Фрейд, Эйнштейн просто неотделимы от культуры Запада. И если скажут, что гитлеризм свидетельствует о том, как относится эта культура к нам, то ответ на это не может быть однозначным, — виновниками Катастрофы были представители загнивающих направлений западной культуры, которые ею же осуждены. В немецкой культуре особенно сильны еврейские мотивы, уходящие своими истоками к Натану Мудрому, поэтому наше отношение к ней не может укладываться в формулу "И убил, и унаследовал". Разве возможно, чтобы об этих сокровищах культуры, в создании которых участвовал еврейский ум и гений, ничего не было известно нашей молодежи только потому, что нацисты ответили на еврейское добро таким злом?

Но мы должны изучать западную культуру не только в связи с ее еврейскими источниками, но также и потому, что мы хотим здесь заложить основы просвещенного общества и государства. Мы критикуем многие стороны западной культуры, но она единственная культура, на базе которой развились демократические режимы, уважающие честь и свободу гражданина. Уйти от нее лишь на основании того, что она, якобы "чужая", означало бы для нас культурное, а впоследствии, может быть, и физическое самоубийство.

Звулун Хамер обращается к вопросу о наркотиках, превратившихся для некоторых кругов в своего рода меч, которым они борются против светской цивилизации. Действительно, известно несколько случаев, когда учащиеся светских школ курили гашиш, и это вылилось в обвинительный акт против светского образования. Следуя подобной логике, можно утверждать, что, поскольку Бетховен умер, будучи глухим, то, не дай Бог, и те, кто предпочтут его произведения хоральному пению, могут потерять слух.

Но раз уж некоторые явления светской жизни превратились в оружие в руках шовинистических кругов, мне бы хотелось сделать три замечания.

Первое — воспитание, ведущее к слепому фанатизму, является не менее опасной отравой, чем тот же гашиш, оба вида отравы — враги цивилизации.

Второе — наркотики прежде всего получили распространение в отсталых пригородах страны, а там как раз преобладают школы религиозного воспитания. Я не делаю отсюда никаких заключений, но прошу и моих оппонентов не спешить с противоположными выводами.

Наконец, третье замечание — среди преступников и правонарушителей велико число тех, кто носит ермолки, и это, конечно, не может не наводить нас на серьезные размышления. Особенно, когда министр внутренних дел Бург заявляет, что амнистия, которая была дарована Бенциону, осужденному за кражу 47 миллионов долларов и не уплатившему ни гроша из назначенного штрафа, — вполне соответствует своду еврейских законов.

Звулун Хамер подчеркивает, что мы должны быть готовы "к тяжелым испытаниям и высокому самопожертвованию". Никто не станет оспаривать это. По мнению Хамера, мы должны "воспитывать наших дочерей и сыновей так, чтобы они знали, кто мы и в чем цель нашего пребывания здесь", и с этим я также совершенно согласен. Но только хочу спросить министра просвещения: может ли быть оправдано то, что в маленьком государстве, где все должны нести ответственность за его оборону, тысячи учащихся в ешивах освобождены от воинской обязанности и тысячи более или менее "религиозных" девиц следуют примеру этих узаконенных дезертиров? Какой смысл имеют все разговоры о морали, когда религиозные круги сами поддерживают массовое уклонение от воинской обязанности и возлагают бремя военной службы лишь на меньшинство учащихся религиозных школ, наделенных национальной совестью, и на колоссальное большинство свободомыслящих? Как, по мнению министра Хамера, свободомыслящая молодежь должна относиться к разговорам об "обретении корней" перед лицом этой действительности?

Еврейское воспитание, о котором столько говорит Звулун Хамер, таит в себе и другие опасности. В религиозных

школах обучают лжи, которая извращает картину вселенной и лишает молодежь возможности включиться в полноценную жизнь современного мира. Достаточно сказать, что теория Коперника о вращении земного шара вокруг солнца находится в полном противоречии с легендами, преподносимыми Библией. Теория Дарвина о происхождении человека (с теми изменениями, которые внесены в нее более чем столетним развитием науки) положила конец библейским рассказам о сотворении человека. Но в наших религиозных школах поворачиваются спиной и к теории Дарвина, и к теории Коперника из-за их несоответствия библейским текстам. Если воспитание зиждется на извращении науки, и притом называется "еврейским", — я боюсь такого воспитания.

Министр Хамер упоминает о необходимости познать свой народ и его прошлое. Я и здесь с ним согласен. Но наше прошлое — это не только традиционный "свод законов", со всеми присущими ему странными вещами, это не только польское гетто и еврейские пригороды в Марокко. Наше прошлое — это также все бесстрашные мятежники и борцы за светлое будущее своего народа, наше прошлое — это еврейская мудрость, это просвещение со всеми его мыслителями и писателями, — это Мартин Бубер и Гордон с его религией труда, наше прошлое — это первые кибуцные поселения с их социалистическими идеалами, далеко не все из которых рессеялись или рассеются в будущем. Да, господин министр, я боюсь "еврейского воспитания", отвлекающего молодежь от всего этого.

А настоящее нашего народа — это не только ортодоксы со своим "сводом законов", откуда министр Бург черпает взгляды на общественную справедливость и еврейское милосердие для преступников, у которых нет никакого милосердия к своему народу. Настоящее нашего народа, если говорить о религии, то это также консервативное и реформистское течения, это еврейские атеисты Франции и еврейские гуманисты Италии и те неевреи, которые семейными узами связали свою судьбу с нашими судьбами.

Да, я боюсь еврейского воспитания, которое поворачивает-

ся спиной к этой действительности, воплощающей правду нашей жизни и нашей эпохи.

Ортодоксы решили, что они и только они представляют еврейство. Откуда их уверенность в этом? Не напоминают ли они тех королей, которые твердили, что царствуют на земле милостью Божьей, твердили, пока история не дала им предметный урок.

Особое "еврейское сознание", которое теперь пытаются внедрить в общественное воспитание молодежи, опасно потому, что оно отделяет еврея от нееврея и затушевывает наши израильские ценности. А также и потому, что основа этого воспитания, по существу, антисемитская. Ортодоксы стараются внушить ненависть к консерватизму и реформизму, даже у их нынешних последователей, и здесь они выполняют прямо-таки антисемитскую роль.

Мы не должны бояться правды: вся линия ортодоксального еврейства не только антинаучна и реакционна, она также направлена против неевреев. Несчастье, постигающее "геро", то есть неевреев, перешедших в еврейство (черные списки, запреты браков, незаконные дети), показывает, что это "еврейство" не изменилось со времен "местечка" и не приспособилось к действительности суверенного демократического государства XX века.

С политической точки зрения, наши ортодоксы напоминают фанатиков, несущих ответственность за разрушение Второго Храма. Между ними и еврейством Гуго Бергмана и Мартина Бубера нет ничего общего. Может быть, именно поэтому правительство, подчиняющееся духовному террору ортодоксов, не посмело выпустить юбилейную марку к 300-летию со дня смерти Спинозы и к 100-летию со дня рождения Мартина Бубера.

Хотите знать, к чему приводит ортодоксальное воспитание? Тогда взгляните на события, происходящие в странах Ближнего Востока. Религия торжествует. 80-летний Хомейни поднял народ Ирана на так называемую "святую войну". Аятолла требует создать республику Ислама, и тысячи юношей, охваченные мистическим экстазом, истязают себя в знак

его поддержки. В Алжире во время похорон Бумедьена началась массовая истерия: мужчины плакали, выкрикивали молитвы, рвались к его гробу для того лишь, чтобы прикоснуться к нему, словно нечто сверхъестественное свершится от этого прикосновения. В Пакистане и в Ливии массы отворачиваются от культурного влияния Запада и примыкают к ортодоксальному Исламу.

Историк не может рассматривать эти явления как некое проявление примитивности народов Ближнего Востока. Культура Ислама отнюдь не примитивна. На заре своей истории мусульмане были учителями Европы. Без Ибн-Сины, Ибн-Рушда и других мусульманских философов европейская мысль не смогла бы достигнуть той высоты, на которую она поднялась сегодня. Достаточно сказать, что крестоносцы, прибывшие на Восток в конце XI века, ощущали себя невеждами перед лицом цивилизации Ислама. Но вот наступает XV век и гаснет свет мысли в этом районе. Отчего же? Отчего до XV века Восток служил источником научной мысли, которую с такой готовностью воспринимал Запад, но с этого времени и до наших дней в мусульманском мире ничего не было ни открыто, ни изобретено, и его участие в мировом прогрессе попросту прекратилось? Многие исследователи боятся касаться этого вопроса, поэтому интересен подход профессора Ж. Саундерса, опубликовавшего в Швейцарии в 1963 году свою научную работу "Проблема мусульманского заката". Ее главная мысль — с интеллектуальной точки зрения мусульманский мир был плодотворен лишь до тех пор, пока в нем происходила борьба различных сект и течений, пока не было ортодоксии, предписывающей нормы поведения, и потому оставался широкий простор для свободной мысли. Когда же ортодоксы одержали победу, прекратилось общественное брожение и в Исламе наступил кладбищенский покой. Арабская медицина, например, была значительно более развита, чем европейская, но вот с победой ортодоксального течения запрещается вскрытие тел, и медицина приходит в упадок.

Этот процесс в Исламе сопровождался священной войной против философов и философии, к которой была отнесена

вся критическая мысль, сеющая сомнения в душах людей.

Профессор Саундерс замечает: "Ислам открыл Бога, у него не было потребности открыть мир и человека. И в этом сердце всей проблемы".

Так началось отставание Востока от Запада. То, что происходит теперь, означает новое отставание, а в истории существует железный закон: кто не прогрессирует, не движется вперед, тот не может не отставать.

Надо иметь в виду, что аятолла не единственный в своем роде, поднявший знамя отсталости. И у нас есть свои хомейни — вожди религиозных организаций "Агудат Исраэль" и "Мафдал", в которых неограниченно властвуют раввины. Их противодействие вскрытию тел, абортам, равенству женщин, театральным представлениям, движению транспорта по субботам, — все это говорит само за себя.

Парадоксален факт, что еврейский поэт И.Л. Гордон предвидел многое из того, что творят сегодня наши ортодоксы. В его письмах к своему молодому другу М. Долницкому Гордон подчеркивает, что если и появится когда-либо еврейское государство, то оно будет разрушено раввинами. Он опасается, что не будет никакой возможности жить в стране, где "раввин Липеле" будет министром полиции. Гениальное предвидение, если вспомнить, что сегодня раввин Бург является министром внутренних дел, в ведении которого находится полиция.

"Горе гражданам еврейского государства, — продолжает И.Л. Гордон, — если его правительство попадет в руки таких фанатиков, как раввин Дискин, который превратит "шулхан арох"\* в государственный закон. Раввин Дискин, кстати, был раввином Брест-Литовска — родины нашего премьера Бегина.

Как видите, высказывания И. Л. Гордона весьма актуальны. Но то, что каждый великолепно понимает, когда речь заходит об Иране, и то, что еврейский поэт понял, когда говорил о будущем Израиля, ставшем теперь действительностью,

\* Шулхан арох — буквально: накрытый стол, свод законов и правил, обязательных для религиозного еврея. Составлен в XVI веке.

еще не дошло до сознания многих наших сограждан. Израильтяне должны решить: хотят ли они иметь просвещенное государство или левантийскую провинцию, разрозненную и духовно опустошенную.

Тем, кто путешествует по стране, я хотел бы посоветовать остановиться возле разрушенной крепости Монфорд в Галилее. Первоначальное ее имя — Штаркенбург, что по-немецки означает "сильная крепость". Когда-то эта крепость, перед тем, как она была разрушена, являлась центром тевтонского ордена. Это была хорошо организованная фаланга монахов-бойцов, которые решили удалиться из Акко, где обитали два других ордена. Государство крестоносцев, как известно, продержалось с 1099 до 1291 года, однако в 1210—1211 годах командир тевтонского ордена решил оставить Святую страну. Он привел своих подчиненных в Европу для того, чтобы объявить там войну неверующим. Вначале тевтонский орден прибыл в Венгрию, чтобы защитить ее от варваров, но высокомерие рыцарей стало претить властелинам Венгрии, и в 1225 году они были изгнаны. Из Венгрии они перекочевали в Восточную Германию, основав там нечто вроде воинственной общины, начавшей борьбу против нехристиан. Этот тевтонский орден отличался особой жестокостью и презрением по отношению ко всем, кто не был германцем или христианином. "Братья-меченосцы", как их называли, сеяли смерть и разрушения на всем восточном побережье Балтийского моря, в результате меченосцы создали свое государство наряду с Германией. Оно было маленьким, но чрезвычайно воинственным, жестоким и фанатичным, с развращенным и brutальным руководством. Так была образована та самая Пруссия, которая завоевала Германию и наложила свой отпечаток на эту большую нацию. Кто знает, может быть, следы прусского влияния и стали источником многих несчастий для Германии?

Теперь, наряду с Израилем, выросло как бы второе государство за его пределами — нечто вроде еврейской Пруссии. В эту Пруссию входят — еврейское поселение Кирыат-Арба и множество других призрачных поселений, в большинстве своем принадлежащих "Гуш имуним". С подписанием мира

между Израилем и Египтом, рядом с Израилем номер один встал и набирает силу мини-Израиль. Вместо мира — это "государство" пропагандирует войну. Вместо компромисса — оно требует "окончательного решения" арабского вопроса (что само по себе является полнейшим абсурдом), создания еврейской "ортодоксальной империи" на завоеванных территориях. Этот мини-Израиль хочет завоевать страну Израиля, он хочет давать указания армии и поставить себя над законами государства. Мы уже видели войска этого мини-Израиля, видели, как рыцари "Гуш имуним", с ружьями на плече и пистолетами на боку, ворвались в зал заседаний Центрального Комитета Мафдала — сцена, напоминающая фашистский путч, или, если хотите, сталинский путч, имевший место в Праге в феврале 1948 года. С высот своей осажденной столицы — гетто, окруженного колючей проволокой, в Хевроне, бросает мини-Израиль вызов Израилю.

Пруссия любила провозглашать религиозные лозунги — "Бог с нами!" Не идет ли по тому же пути "израильская Пруссия"? Совет раввинов открыто рекомендует покориться мини-Израилю, провозгласив, что за "чужими" не следует признавать права владения землей — то есть арабов можно открыто сгонять с их земель.

Когда был подписан мирный договор с Египтом, его Преосвященство первый раввин Сиона Шломо Горен дал указание читать псалмы в синагогах — как это принято, когда молятся за здоровье опасно больного: с подписанием мирного договора война стала восприниматься как болезнь, а мир, в глазах некоторых, начал выглядеть как война.

Пруссия была несчастьем немецкого народа. Мини-Израиль, в стиле Пруссии, растущий на западном берегу Иордана, может превратиться в несчастье Израиля.



## ХРАМ ВЕЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

*Интервью с Эрнстом Неизвестным*

Вряд ли среди советских художников найдется имя более скандальное, чем имя Эрнста Неизвестного. О нем написаны книги на всех языках, кроме русского. Он был одним из самых преследуемых и, одновременно, самых обласканных советскими властями нонконформистов. В пору своего признания он был самым богатым скульптором Советского Союза, но его дерзкий ответ Хрущеву на выставке 1962 года в Манеже не только лишил его всех заработков, но чуть было не привел на урановые рудники. Выгнанный из всех творческих союзов, лишенный возможности зарабатывать на жизнь искусством, Неизвестный более 10 лет проработал простым каменщиком. Он оказался незлопамятным и выполнил последнюю волю Хрущева, поставив ему памятник на Новодевичьем кладбище. И сейчас еще бытует анекдот, в котором потомки, спрашиваясь, кто же был Хрущев, слышат следующий ответ: "Хрущев был незначительным государственным деятелем в эпоху Эрнста Неизвестного".

В зените славы, добившись почти невыносимой в условиях

тоталитарного режима свободы, приобщенный к сонму советских "знаменитых", Эрнст Иосифович Неизвестный бросил все и эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Это было пять лет тому назад. И вот сегодня я — в мастерской скульптора в Нью-Йорке, на Грэнт-стрит. И, естественно, мой первый вопрос ему — о причинах, заставивших его эмигрировать именно в пору "наибольшего благоприятствования".

— Да, в последние годы я добился максимальной творческой свободы и гигантских заказов — таких, о которых западный скульптор не может и мечтать. Государство в таких случаях денег не жалеет. Я должен был, например, оформить Голодную степь.

— Как это — "оформить степь"?

— Очень просто. Она была обжита, застроена, прорыты каналы. Мне оставалось декорировать ее. Я мог делать, что захочу. А перед самым отъездом мне давали на откуп четыре военизированных закрытых города в Сибири. Я должен был их оформить. Конечно, я мог использовать отдельные скульптуры из моего "Древа жизни" для выполнения этих заказов, но уже тогда я был одержим идеей собрать все элементы моего замысла воедино. Но этого-то как раз мне и не давали сделать.

— Почему?

— Сама идея моего сооружения метафизична, а значит, противоречит официальной государственной философии. Правда, еще в бытность мою в Советском Союзе, из моего "Древа" выбирались отдельные, созвучные господствующей идеологии, фрагменты. Они увеличивались и устанавливались как самостоятельные скульптуры. Я ничего не имел против, но вскоре понял, что в целом замысел мне никогда не дадут осуществить.

— С какими трудностями вам пришлось здесь столкнуться?

— Во-первых, с неприятием моей концепции многими художниками. Согласитесь, не каждому приятно, когда его творчество рассматривают не как нечто самостоятельное, а как часть целого. Многих раздражает гигантизм моего замысла. Я знаю, меня считают сумасшедшим, а мой замысел — не-

осуществимым. Я смирился со многим, смирюсь и с этим. И потом, кто-то же должен финансировать эту скульптуру! И это — самая главная трудность. Причем, не отдельные лица, а целые гигантские корпорации.

— Нашли ли вы своего заказчика?

— Нет, пока, к сожалению, не нашел. Но в Советском Союзе у меня не было ни единого шанса осуществить свой замысел — по другим причинам,— здесь же у меня есть хотя бы некоторые шансы. Это все же лучше, чем ничего...

— Как относятся к вашей идее западные интеллектуалы?

— В Европе, где мою графику и скульптуру любят, ценят и охотно покупают, к ней относятся, как ни странно, с юмором, как к чему-то совершенно неосуществимому и ненужному. В Америке же, напротив, моя идея вызывает сочувственный интерес. Дело здесь, как мне кажется, не только в европейском снобизме (ох, уж этот снобизм, непохожий ни на какой другой!), но и в отличном от русского отношении к пространству. Ведь пространство во многом определяет философию и психологию нации. Американское ощущение пространства сродни русскому. Я настроен оптимистически, хотя мне и не удалось еще получить денег под свой замысел. Но уже организуется комитет из моих единомышленников, который должен помочь мне изыскать средства. Другими словами, он должен убедить богатые корпорации в том, что для них моя работа может представить интерес во многих отношениях.

— Расскажите, пожалуйста, подробней о своей концепции и ее воплощении.

— Моя концепция, называемая "Древо жизни", вбирает в себя различные школы и направления. Фрагменты ее можно, как я уже говорил, рассматривать, как самостоятельные скульптуры, картины, витражи и так далее. Так они и выставляются, так они и продаются. И это пока — источник моего существования. Но в принципе они предназначаются для включения в общую композицию. "Древо жизни" представляет собой огромное сооружение, напоминающее человеческое сердце. Высота его вместе с подземной частью — 120 метров.

Это сооружение сконструировано из семи витков Мебиуса. Мебиус — самая современная метафизическая и математическая форма пространства. В центре сооружения будут ходить спиралеобразные прозрачные лифты, чтобы посетители могли свободно путешествовать во всех плоскостях. Лифты будут останавливаться на семи отметках — по количеству витков Мебиуса, где будут натянуты прозрачные полы. Само сооружение предполагается построить из прозрачного светящегося материала, оно не будет иметь ни экстерьера, ни интерьера, а будет выглядеть гармоничным и прекрасным издали и трагичным, противоречивым вблизи.

— Какова основная тема вашего сооружения?

— Если хотите, это скрещение Вечного и Современного. "Древо жизни" посвящено Вечному Человеку, Человеку Библии, Человеку Данте. И одновременно — сегодняшнему Человеку — каким он стал в результате технической революции. На скрещении этих двух начал — вечного и современного — рождается Истина.

— Не потому ли так часто вы в своем творчестве обращаетесь к кресту? Что такое крест в вашем представлении — христианский символ или скрещение двух мировоззрений?

— О, у меня нет претензий в отношении канонического клерикального креста. То есть, я не обязательно изображаю Распятие. Для меня крест — это наиболее емкая и удобная форма для создания моих мировоззренческих структур. И одновременно — для раскрытия темы человеческого страдания. Я знаю, что мой крест чтят католики и некоторые православные. Долгое время он находился в коллекции Папы Римского, сейчас — в музее Ватикана.

— Можно ли сказать, что ваш крест наполняется клерикальным содержанием независимо от вашего желания?

— Художник имеет право говорить и делать, что он считает нужным, а зритель — рассматривать его творчество, как он считает нужным. Тут никакого противоречия...

— Скажите о вашем отношении к религии. Вы религиозны?

— Настоящий художник — я в этом убежден — нерелигиозным быть не может. Ибо всем своим творчеством он бросает

вызов мировому прагматизму. Об этом Пастернак сказал очень верно: "Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник. У времени в плену". Вы знаете, я тоже иногда чувствую себя "заложником вечности". Поэтому я религиозен. Но в то же время я не принадлежу ни к одной конкретной религии. Одно бесспорно: я метафизик по мировоззрению и мироощущению. А из существующих религий мне ближе всего иудео-христианская. Я чту Библию, Новый Завет. Но я убежден в том, что настало время для создания новой религии. По моим предположениям это произойдет в двухтысячном году...

— Может быть, продолжите рассказ о своем замысле.

— Как утверждают математики, метафизики и астрономы, лента Мебиуса — это современное представление о Вселенной. Расположение моей скульптуры относительно солнца будет обеспечивать ее равномерное освещение со всех сторон. Кроме того, на всех особо важных деталях будут световые акценты. Центральная фигура — Пророка — тоже будет высвечена. Вообще я уделяю очень много внимания проблемам светотехники.

— А как будет происходить сопряжение элементов Вечного и Современного?

— Сейчас я вам покажу. Вот это — один из моих семи альбомов, соответствующих семи виткам Мебиуса. Наряду с изображениями человеческих тел и лиц, пусть трансформированных, вы видите элементы абстракции, подвижных структур, светотехники. Сегодня в моей мастерской я работаю над самыми трудоемкими скульптурами, которые надо вылепить в традиционном смысле слова. Вот — Пророк. Вот — Орфей. Рядом с Орфеем — механическая конструкция с элементами абстракции и дизайна. Вот вам синтез. Все это будет делаться в размере.

— Больше человеческого роста?

— Разумеется. Во всяком случае, большинство скульптур. Я — монументалист и принципиально против усредненных размеров, якобы более доступных человеческому восприятию... Это — мещанская психология, мещанское понимание

прекрасного, попытка приспособить искусство для своих кухонных нужд. Я категорически против усредненности.

— Но согласитесь с тем, что пропорции человеческого тела диктуют пропорции и размеры окружающего мира.

— Да, но в очень опосредствованном виде. Человеку свойственно стремление к макромиру. Ведь и греческие храмы, и египетские пирамиды свидетельствовали о стремлении человека вырваться за рамки отпущенных ему природой размеров. Я был в Египте, я видел пирамиды вблизи. Я был в соборе святого Петра в Риме. Это неправда, что он угнетает и подавляет. Это выдумка атеистов. Он возвышает душу. Впрочем, мы отвлеклись...

— Вы говорили о различных элементах "Древа жизни"...

— Да, да. Вот, смотрите, кассета. Емкость. Она пока пуста. Молодой художник, который пожелает сотрудничать со мной, может заполнить эту кассету своим собственным объектом. Идея и разработка, а также осуществление будут всецело принадлежать ему. Он — автор модели. И мой соавтор. Если его работа устареет для него самого, для меня, для времени, ее можно будет заменить другой. Таким образом, "Древо жизни" продумано, как гигантская постоянно действующая выставка не только моего творчества, но и творчества моих соавторов, самых разнообразных художников, скульпторов, светотехников, кинетиков, кинематографистов.

— Это в каком же смысле?

— В прямом. Вот зал для демонстрации фильмов. Кроме того, я думаю включить в эту конструкцию реальные механизмы. Это могут быть моторы самолетов или лопасти турбин. Современная техника исполнена большого эстетизма и драматизма. Кроме того, такое решение даст возможность различным техническим компаниям использовать "Древо жизни" в качестве действующей технической выставки для рекламы своей продукции. Как видите, я не стыжусь утилитарного использования моей структуры. Кроме того, мне, разумеется, небезразлично, что после моей смерти моя работа не прекратит своего живого существования, что она будет постоянно видоизменяться, обновляться. Я против заключи-

тельного аккорда в искусстве. Я предпочитаю открытый финал.

— Замышлялось ли в истории мировой культуры что-либо подобное?

— В древних цивилизациях можно провести аналогию с храмами. Храмы служили моделью Вселенной. Храмы синтезировали современное им искусство. Так что, может быть, хоть и несколько условно, мое сооружение можно было бы назвать Храмом Вечного Человека.

— Но храмы статичны, не правда ли?

— Как сказать. Действующие храмы включали в себя архитектуру, живопись, скульптуру, музыку, театральное или, точнее, материальное действие, цвет, запах, свет — разве в старинных витражах нет чего-то от поп-арта? А помахивание кадиллом — разве это не механический эффект? В современном мире я подобных попыток не знаю. Их не было. Я отвечаю за свои слова как инженер, архитектор, художник и скульптор. За этими словами — 23 года напряженнейшего труда. Это — дело моей жизни.

— Где вы видите свое сооружение? В каком месте?

— Оно может быть установлено в степи, на скрещении коммуникаций. Но оно может быть и в городе — среди урбанистического пейзажа, только чтобы был достаточный радиус для осмотра... Есть мысль поставить его в запущенном районе Нью-Йорка, например, в Южном Бронксе. Или на юге — в Техасе. В каком-нибудь небольшом городе, который обладает огромными средствами и мечтает обзавестись собственным "Знаком". Оно, наконец, может быть поставлено на месте еще не существующего города. В старину ведь тоже сначала ставили храм, возводили стену, а уж потом строили город.

— Ваш эксперимент не напоминает вам создание Мехико?

— Мне нравится опыт мексиканцев, но с Оскаром Нимайером, выдающимся архитектором и художником, у меня принципиальные расхождения. Он пытался создать город волевым способом, как произведение искусства. Из этой попытки ничего не вышло — Мехико "расползается", контуры сокола

в плане размываются жизнью, и это закономерно — нельзя удержать город в начертанных границах. Волюнтаризм в архитектуре недопустим, жизнь мстит за это.

— А как вы относитесь к другим латиноамериканцам — Сикейросу, Томайя, Диего Ривера?

— Они мне нравятся, но с ними я расхожусь в трактовке Человека. Для них Человек — прежде всего революционный крестьянин. Мне кажется, это несколько ущемляет его универсальное звучание в искусстве, делает его более локальным, специфически латиноамериканским. Я же рассматриваю Человека универсально, вне нации, вне партии, вне социальной принадлежности. Это не рабочий, не крестьянин, не интеллигент. Это — Человек Библии. Данте. Человек. Без мундира. Голенький.

— Вы постоянно ссылаетесь на Данте как на одного из своих учителей.

— Я обожаю Данте. Я его всего проиллюстрировал. "Божественную комедию", "Вита нова"...

— Но ведь был и Микеланджело. Вам как скульптору он должен быть ближе.

— Микеланджело? Я преклоняюсь перед Микеланджело. Как это ни парадоксально, ему помешало довести до конца свой замысел именно то обстоятельство, что он был скульптор. Ибо скульптор зависим от материала, от заказчика. Писатель же не зависит ни от кого. Для воплощения своего замысла ему достаточно бумаги и чернил. Поэтому Данте удалось добиться синтеза в своей "Божественной комедии", а Микеланджело остался на уровне своих гениальных фрагментов. Я не сравниваю себя с Микеланджело, но, быть может, и меня ждет такая же судьба.

— Кого из русских вы считаете своими учителями?

— Я учился прежде всего у русского авангарда — Малевича, Кандинского. И отчасти — у кубофутуристов. На Западе считают, что я пишу и работаю так, будто мне незнакомы работы Малевича, Кандинского и других русских авангардистов. На самом деле я пошел дальше их — но уже на новом витке исторической спирали. Я давно преодолел увлечение

фабианской философией. И, в отличие от своих учителей, которые шли от человека к машине, двигаюсь от машины к Человеку. Но извечное стремление русского авангарда к синтезу я сохранил. Книга Кандинского завершается словами: "Будущее — в монументальном синтезе". Я сделал эти слова своим девизом.

— Последний вопрос стал уже традиционным: ваше отношение к Америке?

— Я влюблен в Америку. Я не думаю, что здесь рай, да и вообще не верю в рай на земле, но я уверен, что из всех адов это — наилучший... Тонкий цветок, именуемый "свободой", — несовершенен. Его нужно защищать, как бы тяжело ни было. Возможно, кое-кому тоталитаризм по вкусу ближе и удобнее, но не мне. Я — максималист и человек крайних поступков, и мне Америка потрясающе близка. В Советском Союзе у меня все время было странное ощущение, будто я живу какой-то выдуманной жизнью, а реальная проходит мимо меня, за стеной, и ощущается глухо, как сквозь подушку. Здесь же, в Америке, я впервые ощутил всю стереоскопию, всю стереофонию бытия. Здесь все настоящее, все подлинное: бедность и богатство, порок и добродетель. Пьяница здесь — настоящий забулдыга-клошар, а не средний совслужащий; проститутка — полноправная представительница "второй древнейшей профессии", а не огорченная русская жена. Меня лично это обнаженное состояние вполне устраивает. Я не люблю ханжества, я не люблю, когда меня кормят из рук. Я предпочитаю остаться голодным, но свободным.

*Интевью вела Белла ЕЗЕРСКАЯ*



*Виктор КОРЧНОЙ*

## ШАХМАТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ

В июле 1976 года я играл в турнире ИБМ в Амстердаме, где разделил первое-второе места с англичанином Майлзом. За неделю до окончания соревнования я дал интервью корреспонденту агентства "Франс-пресс", нарушив советский лимит "вольностей дворянства". Я вскрыл причины неудачной игры Спасского в Манильском межзональном турнире. Отказ СССР участвовать в олимпийских поединках, проводимых в Израиле, был мной охарактеризован не столько, как пренебрежение к жизненному девизу ФИДЕ "Gens una sumus", сколько как проявление традиционного антисемитизма советского государства. Увидев свое интервью в газете, я понял, что мой Рубикон перейден, что настало время из "внутреннего эмигранта" стать открытым.

В последний день моего официального пребывания в Голландии я должен был в 7 часов вечера выступить в Гааге перед работниками советского посольства с информацией о закончившемся турнире. В половине шестого, после окончания сеанса одновременной игры в той же Гааге, я уехал к

друзьям в Амстердам, а на следующий день в здании иностранной полиции попросил политического убежища. Началась новая жизнь: каждодневная ходьба по свободе, первые шаги которой даются с трудом — груз пройденного давит без передышки...

## ДЕТСТВО

Будучи осенью 1977 года в гастрольной поездке по городам США, я с удивлением отмечал, как вся Америка (говорят, что президент не был исключением) увлекалась телевизионной передачей "Рутс", что означает "Корни" или "История семьи". Счастливые американцы! У них есть желание и возможности заниматься генеалогией, связывать свое настоящее с глубокими корнями прошлого. Благодаря этому человек обретает уверенность в себе, у него появляется чувство ответственности перед потомками, укрепляется связь с традициями мировой культуры.

В наше время, когда войны перемежаются с революциями, мало кто может похвастаться знанием своего генеалогического древа. Мне же особенно не повезло: я не знал даже своих дедов. Один из них, я слышал, был дворянином с украинско-польским уклоном, другой прожил всю жизнь в еврейском местечке под Киевом... Я знал только бабушку, польку по национальности, и с нею я провел первые десять лет жизни.

Родился я в 1931 году, во время первой "сталинской" пятилетки. Семья наша бедствовала. Впрочем, в этом не было ничего удивительного: в то время часто проводились чистки, не те политические, которые прокатились по стране чуть позднее, а чистки карманов населения — с целью добиться подлинного равенства всех людей. И надо сказать, что власти весьма преуспевали в этом деле: десятки миллионов людей жили в нищете.

Мне пришлось нелегко. Мать моя была женщиной взбалмошного характера, и семья довольно быстро распалась. Скоро матери стало невмоготу меня кормить и воспитывать, поэтому она отдала меня отцу. Моя мать была пианистка,

окончила консерваторию, но бедность ее поражала меня: за десятки лет трудовой жизни она так и не смогла приобрести нормальную мебель — в ее комнате не было ничего, кроме старой кровати, стула, табурета, шкафа и осколка зеркала. Даже пианино она всю жизнь брала напрокат. Десятки раз потом она повторяла, что из-за того, что ей нечем было кормить меня, нам пришлось расстаться, и это стало трагедией ее жизни.

Я попал к родственникам отца. Это были польские дворяне, некогда богатые, а теперь, как и все, равные перед Богом и Сталиным. Впрочем, я все же помню старинную мебель, красивые книги и беседы, которые касались не только вопроса, как прокормить семью в ближайший месяц... Кстати, я был крещен в католичество, и моя бабушка ревностно следила за выполнением мною обрядов.

Мой отец был преподавателем русского языка и литературы, кроме того, он был инженером холодильной промышленности и работал на кондитерской фабрике. Там он познакомился с женщиной, которая стала потом его женой и моей мачехой. Она продолжала опекать меня, как родного сына, и после смерти отца.

Отец уделял серьезное внимание моему воспитанию и, хотя в доме приходилось считать каждую копейку, он считал необходимым, с первых же лет моей учебы в школе, нанять преподавателя для занятий на дому немецким языком. Когда мне было около шести лет, отец научил меня играть в шахматы, и я с удовольствием сражался с ним, с дядей и другими членами семьи. Они использовали мое влечение к игре, и я помню, как не раз предупреждал меня дядя: "Не будешь говорить по-польски, не буду с тобой играть в шахматы!" Но серьезный интерес к шахматам у меня еще не пробудился, в доме не было даже ни одной шахматной книжки. Мы следили за некоторыми соревнованиями, иногда в детском журнале смотрели шахматный отдел и разбирали партию, в нем напечатанную. Вот и все. По-настоящему я занялся шахматами значительно позже, в юности, в годы, когда война подходила к концу.

Ее начало застало меня в Ленинграде. Вместе с другими детьми я отправился "в эвакуацию", как тогда говорили. В неразберихе первых месяцев войны мое путешествие оказалось довольно необычным. Наша школа на продолжительное время застряла где-то в трехстах километрах от Ленинграда. Моя мать, которая иногда принимала участие в моем житье-бытье, узнав, что некоторые школьные эшелоны по дороге разбомбили, поспешила мне на помощь и повезла обратно. По дороге, во время очередной бомбежки, на станции Бологое, мы потеряли свои вещи и кое-как вернулись в Ленинград, где я провел все военные годы.

С началом войны была введена карточная система. Каждый месяц нормы все урезывались, пока не дошли до уровня, при котором активная человеческая жизнь стала невозможной. И если бы не смерть моих близких от голода и лишений, мне, вероятно, не удалось бы выжить...

Я жил в огромной коммунальной квартире, где в тринадцать комнатах ютилось одиннадцать семей. Но мало-помалу квартира пустела: часть жильцов уехала, остальные один за другим начали умирать от недоедания. Отец и дядя были мобилизованы. Они проходили подготовку в городе, иногда навещали нас, и я видел, как прямо на глазах они распухали от голода. Отец был отправлен на передовую в начале ноября 1941 года и, как я узнал потом, в одном из первых боев был убит на берегу Ладожского озера. Дядя мой пропал еще раньше, и о его судьбе я ничего не знаю. Потом, через несколько месяцев, я похоронил бабушку и ее брата. Мы с соседкой заворачивали труп в простыню и на саночках везли через весь город на кладбище. Карточки же умерших оставались до конца месяца у нас, иногда даже дольше — так умершие помогали живым.

Моя мачеха тоже поддерживала меня. Время от времени ей удавалось провести меня на свою фабрику, где она подкармливала меня пряниками и печеньем, по вкусу ни на что не похожими, но, главное, довольно сытными. Но и это не помогло, — в конце 1944 года я попал в больницу для дистрофиков.

Первая зима блокады была самой тяжелой. Стояли необыч-

ные морозы, холод поглощал остатки сил, дров не хватало, во допровод и канализация не работали, трамваи не ходили, а в январе-феврале 42 года город остался даже без газеты. Помню, как с двумя ведрами я отправлялся на Неву за водой, с трудом доставал ее из обледеневшей по краям проруби, а потом с полными ведрами плелся полтора километра домой. Я стоял в очередях за продуктами, иногда по поручению бабушки ходил на рынок менять хлеб на дрова для нашей маленькой "буржуйки". После смерти бабушки я насовсем поселился у мачехи. С осени 1942 года снова стали работать школы, и я пошел в пятый класс. Учился я средне, аккуратности не хватало, зато я был честолюбив, и уж если настраивал себя на осуществление какой-то цели, то, как правило, достигал ее.

### **ТОЛЬКО ШАХМАТЫ**

В конце 1943 года Ленинград ждал прорыва блокады, всеобщее настроение улучшилось, появилось желание жить... В школах расклеивались объявления о работе кружков Дворца пионеров. Мы с приятелем отправились в шахматный клуб Дворца пионеров, руководителем которого был тогда кандидат в мастера Модель, некогда тренер Ботвинника. Разносторонне образованный человек, знаток математики, музыки и поэзии, он был превосходным рассказчиком и охотно делился с нами всякими околошахматными историями. Лекций он нам почти не читал, но этюды любил показывать. Он нас разбил на группы и, в зависимости от наших первых турнирных успехов, присваивал нам категории.

Тогда я занимался не только шахматами, обучался игре на рояле, участвовал в кружке художественного чтения. Не исключено, что у меня и были музыкальные способности, но так как пианино дома не было, мне приходилось все время заниматься в музыкальной школе. Через год это мне надоело, и я распрощался с музыкальной карьерой. Немногим дольше продолжались мои занятия декламацией: на этот раз подвело недостаточно чистое произношение звука "р". Хотя чтецом, как

и музыкантом, я не стал, но на всю жизнь сохранил тягу к де-кламации. Должен сказать, что мне не удалось привить моему сыну любовь к шахматам, зато интерес к стихам и музыке он унаследовал от меня в полной мере.

В конце войны судьба свела меня с мастером Батуевым, работавшим в то время в академической капелле ленинградской филармонии и руководившим районным детским шахматным клубом. Сейчас он больше известен как человек, который посвятил себя приручению животных: обезьяны, птицы, змеи живут у него дома, и он находит с ними общий язык. Однажды Батуев заметил, что я с кем-то пытаюсь играть вслепую. Он сел за доску, посадив меня спиной, взял себе белые и игра началась. Помнится, была венгерская партия, продержался я ходов двадцать. Комментарий Батуева был обнадеживающим: "Молодец, будешь мастером!" Через десять лет мы вспомнили эти слова, но об этом потом.

Отгремела война, из армии во Дворец пионеров вернулся В.Г. Зак и возглавил шахматную работу, а я, как один из лучших юных шахматистов, стал заниматься непосредственно с ним. Тогда он был единственным преподавателем в шахматном клубе Дворца. Сейчас, для сравнения, там их пять. Регулярные лекции не проводились: ребят было чересчур много. Иногда Зак играл со мной легкие партии и делился своими анализами, иногда он приглашал мастеров и гроссмейстеров в помощь. С очень интересными лекциями выступили у нас Левенфиш и Бондаревский. Зак обладал особым талантом выявлять способности к шахматам у детей, еще едва передвигавших фигуры, поэтому учеников у него было много. И среди них немало действительно одаренных. Так, Зак распознал дарование Спасского, сумел его еще больше увлечь шахматным искусством, благодаря его усилиям Спасский уже с десятилетнего возраста был зачислен на государственную зарплату, как крупный спортсмен.

Однажды, спустя много лет, когда питомцы нашего воспитателя собрались отпраздновать его шестидесятилетие, я, обращаясь к юбиляру, отметил, что он сумел привить нам многие черты своего характера. Скрупулезно честный, прин-

ципальный, преданный любимому искусству, он своим отношением к делу, к ученикам внушил нам честный подход к жизни. Со стороны виднее, но мне хочется верить, что лично я перенял у него многое. Я горжусь этим.

Зак следил и за воспитанием спортивного духа своих питомцев. Помню, в отборочном соревновании к юношескому первенству СССР я проиграл партию и написал ему слезное письмо. Моментально я получил ободряющий ответ, в котором Зак уверял меня в моей силе и писал, что верит в меня. Я, действительно, после этого воспрянул духом и доказал, на радость Заку, что я сильнейший в этом турнире.

Я довольно быстро прошел путь от начального разряда до первого, но путь этот был извилист и связан с отдельными крупными неудачами. Говорят, у меня хорошая спортивная выдержка. Пожалуй, это так, но приобретена она была мною в постоянной борьбе путем преодоления трудностей. Первая серьезная неудача постигла меня в юношеском первенстве Ленинграда 1946 года. На старте я проиграл три партии подряд. Очень переживал, злился, чуть не плакал... Потом пришли пять рядовых побед, но первого места так я и не занял. Этот турнир очень помог в становлении моей выдержки, в моей закалке.

В том же 1946 году я впервые участвовал в юношеском первенстве СССР, набрал 5 очков из 15, а победителем, с великолепным результатом 14 из 15, стал кандидат в мастера Тигран Петросян. В аналогичном соревновании 1947 года я играл уже намного увереннее. Борьбу за первое место я вел с Иво Неем. В последнем туре мне удалось свести вничью партию со своим основным конкурентом и, без единого проигрыша, я стал победителем турнира с результатом 11,5 из 15.

В следующем году снова разыгрывалось юношеское личное первенство, но на этот раз с полуфинальными барьерами. Вот тут-то у меня на старте и произошла осечка, вызвавшая упомянутое письмо к Заку. В финал я, конечно, вышел, а там разделил 1—2 места с Неем, проиграв ему, однако, личную встречу.

С 1949 года начали проводиться командные первенства

страны среди юношей. Ленинградская дружина, выиграв все матчи, без труда заняла первое место. Да это и не удивительно: ведь выступали (звания сегодняшние) гроссмейстеры Корчной, Спасский, Лутиков! На первой доске я набрал 5,5 очков из 6, и за этот успех мне было присвоено звание кандидата в мастера. К сожалению, это было первое и последнее достижение ленинградцев. Некоторые игроки, вместе со мной, выбыли по возрасту из юношей, и, потеряв свое основное ядро, команда стала хиреть.

Одновременно с юношескими турнирами я старался участвовать и в соревнованиях взрослых, прежде всего, в отборочных турнирах на первенство Ленинграда. В 1948 году удача мне не сопутствовала, в том турнире я не набрал и 50% очков, но уже через год мне удалось выйти в финал первенства города. И тут я блеснул: во встрече с пятью мастерами, которые принимали участие в соревновании, я набрал 4,5 очка. С легкостью, играя черными, в 27 ходов я победил М. Тайманова, ставшего моим многолетним соперником. Турнир все же выиграл он, опередив меня на пол-очка. Но все равно, это был успех, мой первый успех в борьбе со взрослыми.

### **УНИВЕРСИТЕТ. ЗВАНИЕ МАСТЕРА**

О шахматистах зачастую говорят, что они тяготеют к точным наукам. С этим можно согласиться. Люди с математическим складом ума всегда с интересом относятся к шахматам. Многие сами играют — иногда слабо, но никогда бездарно: законы логики как бы запрещают им делать слишком слабые ходы. Среди когорты прославленных шахматных имен немало представителей точных наук, например, Ласкер, Эйве, Ботвинник. С другой стороны, среди шахматистов есть немало гуманитариев — Алехин, Смыслов, Таль и другие. Видимо, шахматист высокого класса должен обладать разносторонним умом, где логическое мышление сочетается с творческой фантазией.

После окончания десятилетки в 1948 году я должен был определить свою будущую профессию. Точные науки были

мною отвергнуты, как слишком для меня трудоемкие. Задумавшись о гуманитарных, я выбрал, наконец, историю. Книжки по истории, исторические рассказы занимали меня с детских лет. При выборе профессии я не избежал участи моего поколения: как и все, я слабо отдавал себе отчет, чем конкретно я буду заниматься. В мое, сталинское, время я не сразу мог понять, что история отнюдь не заслуживает высокого слова "наука", поскольку красное легко выдавали за синее, а белое — за черное.

В стенах Ленинградского университета я провел шесть лет. Разочарование практически пришло сразу. Ведь все эти годы вместо истории я изучал марксизм по расширенной программе. Один из моих приятелей, блестящий студент, после второго курса, осознав бессмысленность своей учебы, ушел в Горный институт, потеряв два года жизни. Своей решительностью он показал мне, как надо вовремя, если это необходимо, уметь "вырвать" кусок тела, чтобы продолжать жить полноценной жизнью. У меня не хватило сил последовать его примеру, потеря двух лет казалась мне невозполнимым уроном. И только через десятки лет я понял, что, занимаясь историей, потерял значительно больше. Итак, долголетняя история с историей была ошибкой. Мне следовало идти в инъяз. Шахматисту, независимо от его политических взглядов, языки необходимы. С отвращением вспоминаю проведенные в стенах университета годы. В памяти мелькают бесконечные митинги, заседания, посвященные 70-летию Сталина, комсомольские собрания — нудные, гадкие, оживляемые лишь иногда так называемыми "персональными делами". Вмешательство в личную жизнь, в самые мысли студентов — было обычным делом.

Учился я неважно. Особенно плохо давались мне "социально-экономические дисциплины" — диалектический материализм, политическая экономия. Я объясняю это отсутствием достаточной логической связи этих наук с окружающей жизнью. На государственном экзамене при окончании института я получил по этим предметам "тройку". Но хуже пришлось во время учебы. За такие отметки в зачетной книжке студента лишали стипендии на следующее полугодие. Вопрос

о том, можно ли пересдать экзамен, чтобы получить хорошую отметку, а с нею и стипендию, решался комсомольскими организациями. На втором курсе я получил тройку и обратился в комсомольское бюро за помощью. Товарищи-студенты мне ответили: "А зачем тебе пересдавать, ты же шахматист!" Дескать, стипендии положены настоящим студентам, а не шахматистам, учиться которым вовсе не обязательно. На всю жизнь запомнил я урок об особенностях товарищеских отношений в советском вузе.

Я окончил институт в 1954 году, задержавшись на год с защитой диплома. Но историческое образование так мало значило для меня, что спустя двадцать четыре года не могу, как ни стараюсь, припомнить не только содержания, но и названия своей дипломной работы. Кажется, она называлась так: "Народный фронт и компартия Франции накануне Второй мировой войны".

В эти университетские годы я интенсивно занимался шахматами, много работал дома — анализировал партии гроссмейстеров, составлял комментарии к своим собственным, играл до девяноста партий в год. Участвовал в отборочных соревнованиях на первенство СССР, в чемпионатах Ленинграда и студенческого общества "Наука", в университетских командных соревнованиях, иногда играл вне конкурса в некоторых турнирах по приглашению.

В начале 1951 года в Ленинграде проходил массовый турнир памяти М. Чигорина. Я выполнил мастерскую норму, но своей игрой, в целом, был не очень доволен. Дело в том, что в последнем туре мне обязательно нужно было выиграть, а моим противником оказался опытный мастер. Партия наша была отложена в совершенно ничейной позиции. Однако, у меня, молодого шахматиста, было немало болельщиков, в том числе кое-кто из организаторов турнира. Они оказали серьезное давление на моего противника, угрожая не выдать положенный ему денежный приз, если он не подчинится их требованиям. Под таким давлением мой противник в конце концов нашел способ проиграть эту ничейную позицию. Признаюсь, в этой некрасивой истории и я вел себя непод-

обающим образом: делал вид, что ничего не знаю, и в душе посмеивался над партнером. Сейчас у меня хватило бы стойкости, чтобы отказаться от подобных услуг своих болельщиков и прекратить такой "базар". Звания мастера мне тогда все же не присвоили. По-видимому, Всесоюзная квалификационная комиссия, проверяя качество партий, усомнилась в качестве этой победы. Но за успех в турнире я был допущен в полуфинал очередного XIX первенства СССР, куда мне, кстати, не удалось пробиться из четверть-финала. В этом полуфинале я, наконец, самостоятельно выполнил мастерскую норму.

Об этом турнире есть что вспомнить. На финише я должен был победить едва ли не во всех партиях. Мне удалось выиграть три. В последний день было достаточно ничьей, чтобы выполнить норму мастера, но выигрыш обеспечил бы мне выход в финал первенства СССР. Заманчивая перспектива! А играть мне предстояло со Смысловым, уже тогда вторым шахматистом мира. С легкостью он прошел весь турнир и обеспечил себе первое место. Как рассказывают, Смыслов не склонен был играть в тот вечер. Рассчитывая на быструю ничью, он взял билеты в театр. Но не тут-то было! Обуреваемый жадой победы, я сумел... испортить ему вечер. После пяти часов борьбы наша партия была отложена в неясной позиции. Потом был ночной анализ, вместе с мастером Толушем, потом — доигрывание. Правда, партию удалось спасти с трудом.

Упомянув о Толуше, не могу не рассказать еще один случай. В начале 1950 года директор шахматного клуба Ленинграда передал мне, что один из лучших мастеров страны Толуш предложил мне свою тренерскую помощь. "За два года сделаю из него мастера", — якобы сказал Толуш. Но я опрометчиво отказался. Мастером я действительно стал, но у меня было время подумать, чего я лишился. Толуш стал работать со Спасским, и через несколько лет все увидели, как вырос тактический талант молодого шахматиста. Толуш был замечательным мастером атаки, и это дарование сумел развить и поднять на еще большую высоту в Спасском. Рассказывали, что, когда Спасский впервые, в 1953 году, играл под

руководством Толуша, тот не велел Спасскому показываться на глаза, если он что-нибудь не пожертвовал в партии накануне. Спасский опровергает это, но я верю: такое "насилие над личностью" было вполне в духе Толуша и благотворно сказывалось на шахматном развитии Спасского. Думается мне, что мой тактический талант не уступал способностям лучших атакующих шахматистов, но развить его самостоятельно, в той мере, как хотелось бы, мне не удалось. Тактическое чутье, умение пожертвовать материалом за развитие инициативы — качество, которое я очень ценю в партиях мастеров атакующего стиля и, прежде всего, в творчестве Спасского...

Итак, я стал одним из пятидесяти шахматных мастеров страны. Любопытно, что спустя 25 лет в СССР стало около сорока гроссмейстеров, больше пятисот мастеров. Если допустить, что и тогда были люди, неплохо игравшие в шахматы, то налицо бесспорная инфляция звания мастера и, конечно, гроссмейстера. К сожалению, я не обладаю педантичностью некоторых людей, которые ведут строгий учет всего того, что они создали, записывая партии на двух бланках, чтобы не затерять их в памяти и использовать для дальнейшего совершенствования. Мои партии того времени в большинстве своем остались неопубликованными. Играл я тогда совсем иначе, чем сейчас — острее Брауна или Любоевича. Надеюсь, что несколько случайно сохранившихся партий дадут представление о стиле моей игры того времени.

## **ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ**

Выступая в полуфинале первенства СССР 1952 года в Минске, неожиданно для многих и для самого себя, я вышел в финал. Мой успех вызвал восторг болельщиков и недоумение шахматистов постарше. Ведь мне удалось обойти таких сильных шахматистов, как Флор, Авербах, Холмов и другие. В том классном турнире я разделил второе место. Мой дебют-

ный репертуар был тогда весьма ограниченным, играл я 1. е4, а черными — сицилианскую защиту, на 1. д4 отвечал только 1... ф5 — различные виды голландской. Теория в то время была развита слабо, "Информатор" не выходил, но хороших шахматистов было немало, так что иногда меня "прибивали с треском". Поэтому свой дебютный репертуар я резонно считал неподходящим и стал готовить к чемпионату новый дебют — защиту Грюнфельда. Вспомнилась любопытная мысль, высказанная как-то Бондаревским: "Когда шахматист стремится сменить дебют — это признак его роста!" Я выписал из доступной мне литературы партий сто о защите Грюнфельда, просмотрел их, проанализировал, и у меня создалось ощущение, что в любом варианте этого дебюта мне удастся белыми получить преимущество. И — странная вещь — я ощутил уверенность в игре черными!

Защита Грюнфельда стала моим верным оружием, с 1952 года она десятки лет служила мне верой и правдой. В свою очередь и я сделал немало, чтобы этот дебют стал непременным "участником" любого соревнования. Мне удалось внести много новых идей и оживить этот, одно время потерявший привлекательность, дебют.

Чемпионат СССР — тяжелое испытание для новичка. Турнир был сильным по составу, но я занял шестое место — впереди Смыслова, Бронштейна, Кереса, Суэтина, Симагина. Игра моя отличалась завидным упорством, я довольно тонко разыгрывал эндшпиль. В дебюте же я был еще слабоват, но особенно беспомощно выглядел в середине игры. Этот мой недостаток изредка заметен и сейчас, хотя за последние шестнадцать лет я достиг значительных успехов в этой области. Ну, а если мне удавалось из дебюта перейти сразу в эндшпиль, то тут я мог обыграть кого угодно. Так, в частности, случилось в моей партии со Смысловым в первом же туре. Черными я выиграл окончание у самого Смыслова и сразу доказал, что я не случайный гость в этом турнире.

Много памятных партий было у меня в том чемпионате. Встреча с Бронштейном, например. До сих пор я играл 1. е4 и в случае 1...е5 — итальянскую или гамбит Эванса. С ним по

робости я сыграл жоко пьяно. Мы сделали семь ходов по теории, а потом Бронштейн сыграл по-новому, и я почувствовал, что у белых (!) возникли серьезные трудности. Проиграв эту партию, я отказался от итальянской, а постепенно и от 1. e4 вообще.

Через несколько туров моим соперником был сам чемпион мира Ботвинник. Партию я начал движением пешки на с4. Возникла закрытая позиция, в которой Ботвинник методически стал меня переигрывать. Одни ходы я угадывал, другие — нет; его общий замысел был мне совершенно непонятен. Потом ко мне подкрался цейтнот, и Ботвинник начал нервничать. Он мог выиграть качество, но чего-то испугался, упустил одну выигрывающую возможность, другую, и партия была отложена в позиции, где многие считали, что мои шансы даже лучше. Я неплохо разобрался в позиции, нашел достаточную контр-игру за Ботвинника, и мы без игры согласились на ничью. Чемпион мира ознакомился с моим анализом и похвалил меня за его качество. Прошло шесть-восемь лет, прежде чем я усвоил урок позиционной игры, преподанный мне Ботвинником в этой партии.

Запомнилась и встреча с Кересом. Обычно он, впервые играя с молодыми, подходил к таким партиям с большой ответственностью. Так было и со мной. Керес использовал мою неточную игру в дебюте, жертвой пешки развил сильнейшую инициативу и выиграл уже на 24-ом ходу. С тех пор я стал относиться к Кересу с почтением и даже с некоторой боязнью. Навсегда он стал моим труднейшим соперником. Я не только не мог его обыграть, но не в силах был даже получить с ним лучшую позицию. Любопытная психологическая деталь: двадцать с лишним лет спустя, в тяжелой для меня ситуации, накануне матча с Карповым, Керес был одним из немногих гроссмейстеров, предложивших мне свою помощь. Я был вынужден отказаться — уж слишком могуч был его авторитет для меня и действовал как-то подавляюще...

Не могу забыть и такой эпизод из этого турнира. В первой его половине я входил в лидирующую группу. Пожилой мастер Кан одобрительно сказал мне: "О, вы на втором месте!"

"Буду еще на первом!" — отвечал я. Кан усмехнулся: "Скромность украшает добродетель!" Самоуверенности мне было не занимать.

Действительно, гордиться было рано, но после моего успеха в чемпионате "шахматное море" было мне по колено: мне казалось, что могу выигрывать у кого угодно, а получалось наоборот. Чемпионат страны дал мне многое, но и сил забрал немало. Следующие полгода играл я неровно. В чемпионате Ленинграда, правда, я снова занял 2-ое место, на этот раз за Фурманом, а потом еще один успех — 14 очков из 16-ти в первенстве студенческого общества "Наука".

Тем же летом 1953 года произошла моя первая встреча с Талем. Психологическая загадка игры: шахматисты одного класса показывают в соревнованиях схожие результаты, но во встречах между собой один регулярно обыгрывает другого. Лет десять назад я нарисовал такой круг: Таль побеждает Портиша, Портиш — Кереса, Керес — меня, я — Талья, Таль — Портиша и так далее. Действительно, счет мой с Талем 13:2 при, примерно, двадцати пяти ничьих. В чем тут дело? Почему Таль, даже в лучшие свои годы, неудержимо двигаясь к званию чемпиона мира, обыгрывая всех самым невысказанным образом, не мог играть со мной? Я, как и в случае с Кересом, ищу разгадку в самой первой партии между нами. К тому времени я был уже опытным мастером, а он — только кандидатом в мастера, мне было 22 года, ему — 16, у меня была лишняя пешка, у него ее, естественно, не хватало. Он предложил мне ничью. Правда, на доске были разноцветные слоны, но были и другие, тяжелые фигуры. Видимо, самоуверенность этого мальчика превосходила даже мою! Выиграть эту позицию было нелегко, но на 94-м ходу я его все-таки сломал... и похоже — на всю жизнь! С этого момента он играл со мной, как обреченный. Могу похвастаться: однажды Таль применил против меня даже разменный вариант французской! Еще бы! В наших партиях цвет особой роли не играл: белыми Таль оказывался еще более уязвимым.

## НА ПУТИ К ЗВАНИЮ ГРОССМЕЙСТЕРА

В жизни молодого перспективного шахматиста, оканчивающего высшее учебное заведение, может наступить трудный момент. Ему тогда предстоит выбрать — устраиваться ли на работу по специальности или заняться тем, что до недавнего времени было его хобби. Мне повезло. В канун окончания курса университета я добился крупных успехов, обратив на себя внимание руководителей комитета спорта СССР и шахматной федерации. Меня зачислили в штат профессиональных спортсменов страны — "на стипендию", как говорят в Союзе.

На Западе, наверно, невозможно будет найти шахматиста-любителя, который служа, скажем, в какой-то фирме или на предприятии, может уезжать на соревнования на три-четыре месяца, а то и на полгода. Кому нужен такой работник?! В отличие от других международных федераций, ФИДЕ не проводит грани между профессионалами и любителями. Что же касается материальной основы шахматного профессионализма, то только в СССР с первых послевоенных лет была введена форма поддержки государством спортсменов, опираясь на которую, они могли свободно располагать временем для самосовершенствования. Форма эта своеобразна. Нормы платы были установлены примерно в 1949 году и с тех пор, в основном, не пересматривались. Когда-то это была приличная сумма, но инфляционная спираль внесла свои коррективы. Любопытно, что размер стипендии обусловлен успехами, и если спортсмен снижает результаты, его положение в "табеле о рангах" также понижается, и он лишается стипендии. Естественно, профессионализм в спорте влечет за собой де-квалификацию в другой профессии, тем более, что "совместительство" в принципе запрещено (Ботвинник был редким исключением).

Жизнь, даже прославленного спортсмена, не всегда усеяна розами... Отметим, что ставки по западным масштабам очень невелики — от 60 до 300 рублей. Если учесть, что в 1969 году по официальным данным ЦСУ средняя зарплата по стране

составляла 120 рублей в месяц (а мы знаем, что это мираж, на самом деле она была значительно меньше), а пара обуви, например, стоила 30 рублей, то трудно сравнивать советских профессионалов с западными. И все-таки успехи советских шахматистов объясняются прежде всего опекой государства, а назначение "стипендии" шахматистам сыграло едва ли не решающую роль в их росте.

В начале 1954 года я снова играл в первенстве СССР. Выступал хорошо, выиграл много ярких партий, активно боролся за первое место. Но на весь турнир меня не хватило. На финише я проиграл пару партий аутсайдерам. Меня обошел Авербах, и я разделил второе место с Таймановым. Тут, впервые на всесоюзной арене, я встретился с Петросяном. Когда-то мы играли в школьном турнире, где он был вне конкуренции. Теперь же я обошел его. С этого времени начинается мое соперничество с Петросяном, скоро превратившееся в войну, в которой он проявил немало изобретательности, прибегая к самым разнообразным средствам.

После чемпионата я впервые в жизни поехал на международный турнир — в Бухарест. Выступали в основном мастера, так как гроссмейстеров тогда в мире было немного. Мастера были сильные — Фурман, Нежметдинов, Холмов, Пахман. Борьба за первое место свелась к соперничеству между мной и Нежметдиновым. Талантливый мастер атаки, он обычно играл неровно, но тут был на высоте. В первом туре мне чудом удалось спасти с ним трудную партию. Далее мы развили бурный темп и за тур до конца возглавляли турнирную таблицу с 12,5 очками из 16-ти. В последний день я быстро сделал ничью с О'Келли, а Нежметдинов, будучи "клиентом" Фурмана, не смог устоять против него и на этот раз. Турнир выиграл я.

Затем было командное первенство мира среди студентов. По нынешним временам советская команда была совсем слабой, ведь играли в ней всего два полугроссмейстера, Моисеев и я, остальные были мастера. Нам пришлось нелегко против некоторых команд, которые представляли собой едва ли не национальные сборные. Мы чудом спасли матч против

болгар (я проиграл Миневу) и проиграли чехословакам, которые и стали победителями этого первенства. В следующем году я неудачно сыграл в первенстве СССР, так что меня в студенческую команду не взяли, а решили укрепить ее Спасским и Таймановым, давно уже не студентом, зато одним из сильнейших шахматистов страны в то время. В Лионе в 1955 году у советских студентов трудностей не было.

Еще сильнее стала студенческая команда в 1956 году в Упсале. Представьте себе: я, почти гроссмейстер, полугроссмейстеры — Таль и Полугаевский, мастера — Лутиков, Васюков, Антошин... Студенты из других стран приезжали повеселиться, попивали вино, гуляли по ночам, а мы играли серьезно. Ни о каком нарушении режима не могло быть и речи. Неудивительно, что мы "всухую" обыграли команду Югославии, в которой было два гроссмейстера. Я выиграл черными у Матановича, Таль — у Ивкова. Югославия была нашим единственным конкурентом. После этой встречи все стало ясно.

После чемпионата состоялось турне группы наших шахматистов с сеансами одновременной игры по Швеции и Норвегии. Ставки по нынешним временам были ничтожны. В одном шведском клубе Котов (руководитель делегации) получил за сеанс 150 крон, я — 100, Таль — 50. Будущий чемпион мира выступал за 10 долларов! Больше в студенческих соревнованиях я не участвовал.

Чемпионат СССР 1955 года был отборочным, зональным турниром. В нем участвовали лучшие силы, включая чемпиона мира, который выступал вне конкурса. От меня ожидали успеха, ведь я отличился в прошлые годы. Но мне не удалось оправдать надежд. Не могу сказать, что мне не везло. Спас же я партию с Кересом без качества, с Авербахом без пешки. Я боролся в каждом поединке, но безуспешно. Первый выигрыш (он же и последний) пришел ко мне в 13-ом туре. В поисках причин неудачи я ломал голову, меня ругали — обвиняли в зазнайстве, в нарушении режима, пьянстве. Последнее не было лишено оснований, хотя в молодости соблюдение режима не играет столь важной роли, как в зрелые годы. В шах-

матной прессе появилась тогда статья Д. Бронштейна, единственного крупного шахматиста, стороннего наблюдателя XXII чемпионата. Его доброжелательную критику уместно процитировать: "...Ленинградцы должны помочь одному из наиболее одаренных советских шахматистов В. Корчному преодолеть переживаемый им кризис. Уже в XXI чемпионате... у него были симптомы недооценки партнеров, желание выиграть любым способом любую позицию без достаточных объективных предпосылок. Теперь, при более сильном составе, он после нескольких неудач потерял веру в себя, но для этого у него нет никаких оснований". Спасибо Бронштейну, он — единственный, кто поддержал меня тогда. А переживал я очень сильно. Впервые в жизни, чтобы поднять качество своей игры, бросил курить, впервые поехал лечиться в санаторий в Сочи и очень серьезно занялся теорией. Результаты не заставили себя долго ждать. Через два месяца был чемпионат Ленинграда. В нем я установил один из первых своих рекордов, набрав 17 очков в 19-ти партиях. На 3 очка отстал второй призер — Толуш, еще на 2 — третий победитель — Фурман. После четырех туров у меня было 2,5 очка, а потом я выиграл 11 партий подряд! Ленинградская шахматная школа всегда пользовалась заслуженной репутацией. Уступая в квалификационном отношении Москве, ленинградцы в матче на 40 досках с москвичами упорно боролись и не случайно выигрывали чаще, чем их именитые противники. Поэтому выигрыш первенства Ленинграда с таким результатом сразу поставил меня в ряды лучших шахматистов страны. Я был зачислен в состав сборной команды СССР, выступавшей на первенстве Европы, а в конце года был направлен на турнир в Гастингс.

Человеку, не живущему в СССР, трудно представить себе, чем является для советского гражданина поездка за границу и с какими трудностями она сопряжена. Громадный пропагандный аппарат уже долгие годы культивирует мнение, что только у нас "и жизнь хороша, и жить хорошо..." Поэтому советское правительство отнюдь не заинтересовано в поездках своих граждан за рубеж. Советскому человеку, желающе-

му посмотреть мир, чинят всяческие препятствия. Его заваливают всевозможными анкетами, различными вопросами, которые должны установить степень верноподданничества просителя, все это тщательнейшим образом проверяется потом многими инстанциями. Это партийные собрания (даже для беспартийных), комиссии от районной до всесоюзной включительно — все они, одна за другой, утверждают разрешение на выезд. На этом мытарства еще не кончаются: есть еще высокая пошлина в виде очень дорогостоящей путевки или дорогого заграничного паспорта. Но даже взяв все эти "высоты" и попав за границу, советский человек не может насладиться отдыхом, за ним всюду следует "нянька", которая следит, чтобы он поменьше общался с местным населением, знакомился с историческими достопримечательностями побольше, а с бытом страны — поменьше. Валютой выезжающего не балуют, она жестко лимитирована, а вывозить и обменивать рубли строжайше запрещено, так что и тут он связан по рукам и по ногам.

Командируемый за границу имеет значительные преимущества перед "простым" гражданином. Процедура отбора, проверки несколько смягчается — все-таки это специалист, как правило, уже повидавший свет, но, тем не менее, на оформление документов уходит значительно больше месяца. Правда, ослабляется персональная опека, снимается денежный налог, выдаются командировочные, а впереди надежда на получение призов или гонорара в стране, куда человек направляется.

Каждый выезд на Запад является реальным финансовым подспорьем семье, появляется возможность купить дефицитные в СССР товары или воспользоваться услугами "Березки".

Так что выезд за границу — событие исключительное. И если специалист, готовящийся выехать за границу, вдруг остается дома, значит, что-то стряслось, он стал "невыездным"... Причины "невыездного" состояния, конечно, не называются, но рано или поздно всплывают на свет. Тут могут быть и родственники за границей (Холмов никогда не играл в турнирах, проводимых в капиталистичес-

ком мире), аморальное поведение, например, частые женитьбы (Таль — прессинг с 1968 по 1972 год).

Итак, я снова за границей. В первенстве Европы мы играли с командой Польши в Лодзи. Память сохранила один неприятный для меня эпизод. Мы выигрывали матч с очень крупным счетом, примерно 17 : 3. В первый день я белыми выиграл у Доды, а во втором туре, играя с мастером Браницким, не получил перевеса. Мы попали в обоюдный цейтнот, после чего у нас одновременно упали флажки. Сколько сделано ходов, мы не знали, позиция была повторена несколько раз, если четырежды — партия ничейная, а если три, то тогда белые просрочили время. Наш руководитель Абрамов, довольно тактичный человек, предлагал мне согласиться на ничью, я же упорствовал без достаточных на то оснований. Мне, молодому человеку, политические тонкости тогда были невдомек. А со стороны выглядело так, что мы сильнее не только в шахматном отношении, мы вообще мощная держава, и потому мы, то есть я, имеем право решать любой спор в свою пользу. Так я добился присуждения мне выигрыша. Сейчас вспоминаю этот случай со стыдом. К слову сказать, 19 лет спустя правом сильного воспользовался Таль и в спорной ситуации, уже сложив оружие, добился пересмотра решения судейской коллегии об исходе партии. Вы уже понимаете, что это случилось тоже в Польше против польского шахматиста...

В Гастингс под Новый год мы отправились втроем, нам с Таймановым был придан руководитель, некто Зайцев. Его основной функцией было наблюдение за нами. Правда, это был не худший вариант. Впоследствии Зайцев работал в советском посольстве и даже, играя в штате Виргиния, выполнил норму американского мастера.

Турнир для меня прошел без особых трудностей. Я выиграл пару хороших партий, в том числе у Ивкова, тогда уже известного гроссмейстера. Решающую встречу с главным конкурентом Олафсоном я сыграл черными вничью и в итоге разделил с ним 1—2 места. Тайманов остался на 4-м, без приза. Любопытно, как скромны тогда были награды. В турнире из

десяти человек было три приза — 60, 40 и 20 фунтов стерлингов! Интересна моя "партия" с Таймановым. Он меня побаивался и, поскольку я играл белыми, уговорил меня эту партию расписать. Сие значит: игроки заранее согласовывают ходы и результат встречи. Получилось очень красиво. И потом в своей книге "Памятные встречи" он захлебывался от восторга, как здорово мы играли! Хотя на самом деле вся партия стояла дома...

Сразу после Гастингса началось первенство СССР. В моей игре чувствовалась вялость, ничьи шли чередой. Играя с Толушем, я попал в труднейший эндшпиль. У меня было два коня, которые боролись против ладьи и двух проходных пешек противника на разных флангах. Ценой невероятных усилий мне удалось задержать эти страшные пешки и сделать ничью. В фойе я повстречал старого учителя, мастера Батуева. "Как это здорово у тебя получилось, гроссмейстером будешь!" — предсказал он, как некогда: "Быть тебе мастером!"

Действительно, на финише мне удалось подтянуться — я набрал 4,5 из 5-ти. В предпоследнем туре я нанес поражение Спасскому, тогда уже претенденту на первенство мира. Я применил сравнительно новый способ борьбы против староиндийской, который позже приобрел популярность среди мастеров, и без особого труда добился подавляющего перевеса. Кстати, играя со Спасским, я всегда испытывал трудности в первой половине турнира, но если жребий сводил нас во второй его фазе (чаще всего в предпоследнем туре!), то ему приходилось туго. Видимо, играя каждую встречу с большим напряжением, Спасский в конце длительного соревнования испытывает недостаток сил. Мне досталось 4-ое место на полочка отстал от разделивших 1—3 места: Тайманова, Авербаха, Спасского. По правилам звание гроссмейстера давали тогда за 3-е место, дважды занятое в течение трех лет. У меня, кроме 2—3 места в 1954 году и 4-го теперь, были еще победы в Бухаресте и Гастингсе. Совокупность этих успехов принесла мне звание гроссмейстера, а в конце года и конгресс ФИДЕ присвоил мне международное звание.

## ГРОССМЕЙСТЕРСКИЕ БУДНИ. НАКАПЛИВАЮ ОПЫТ

Потом был студенческий турнир в Упсале и турне по Швеции и Норвегии, а оттуда я мгновенно переместился в Среднюю Азию, в город Фрунзе, где вне конкурса принял участие в зональном четверть-финале первенства СССР.

Не так-то просто менять в один день Западную Европу на глухую Азию — разница в условиях жизни ошеломляет! Но сыграл неплохо. В этом малоизвестном турнире я набрал 18 очков из 19-ти, проиграв единственную партию в 18-ом туре...

Летом советские шахматисты выехали в Югославию. Это был один из первых контактов со страной, которая, находясь в Восточной Европе, позволяла себе вести независимую политику. Мы прибыли туда раньше, чем дипломаты — им еще предстояло налаживать официальные отношения. Так, очевидно, повелось: спорт прокладывает дорогу дипломатии. Уж не нашему ли примеру последовали американские пингпонгисты и дипломаты в Китае?! Югославские шахматисты видели нас впервые, они еще не догадывались, какая это страшная сила — советские профессионалы.

Из Югославии — в Полтаву, на турнир "Буревестника", где я разделил 1—2 места с мастером Котковым, по 12 очков из 16-ти. По регламенту соревнования я должен был сыграть матч из 6-ти партий, который и состоялся у него на родине в Перми-Молотове. В принципе, я отвергаю деление шахматистов на турнирных и матчевых, предложенное в свое время Бронштейном. Есть шахматисты сильные и слабые, все остальное — искусственно. В своем первом матче я это доказал: он оказался матчем из 4-х партий. На долю Коткова пришлось лишь палочка.

1957 год был годом блистательного взлета Таля. Еще недавно, в полуфинале первенства СССР, в Тбилиси он с трудом пробился в лауреаты, а финал начал с четырех побед подряд. Перед партией с ним в 5-ом туре я попросил совета у Бронштейна, как играть и что. Он ответил: "Можете играть как угодно, но за эту партию вы отвечаете перед всеми участниками турнира. Вы не имеете права ее проигрывать". Я играл

черными. Встреча закончилась вничью. Кстати, именно в ходе этой партии я обратил внимание на довольно шаблонную игру Таля в атаке. Впрочем, он победил в этом турнире, а победителей не судят.

Спустя 11 лет в прессе я высказал свое мнение, отметив, вразрез с подавляющим большинством, схематичность в игре Таля. После этого в газете "64" появилась резкая по форме анонимная заметка в защиту Таля. В своей книге, изданной в 1976 году, Таль не без гордости вспоминает этот случай, указывая, что сам чемпион мира Петросян выступил в его защиту. Интересно, как Талю удалось угадать фамилию ее автора? Ведь заметка-то была без подписи?

В начале 1958 года в моей жизни произошло важное событие — я женился. Со своей будущей женой я познакомился в Гаграх, где я отдыхал, готовясь к предстоящему полуфиналу. Моя жена, родом из Тбилиси, жила в ту пору в Москве. После женитьбы я увез ее в Ленинград. Она очень любила Москву и уговаривала меня туда переехать. Советовали мне это и мои друзья. Дескать, Москва — столица! Москва — это жизнь! Но я оставался верен городу, где я родился и вырос. А на все уговоры отвечал, что они, эти советчики, не видели ни Парижа, ни Нью-Йорка, а там, наверно, жизнь и того лучше! Так зачем же размениваться на мелочи? Тогда, в тот момент, я еще не думал, что окажусь столь последовательным. Но об этом речь еще впереди...

Мой первый турнир в новом, "женатом", состоянии я играл в Сочи. Это был чемпионат РСФСР, победителем которого оказался Нежметдинов, один из сильнейших советских мастеров. Его почему-то очень редко посылали за границу, и, очевидно, поэтому ему так и не удалось никогда стать гроссмейстером. Я разделил 2—4 места с Фурманом и Полугаевским, проиграв последнему личную встречу в сицилианской защите белыми. Это начало я вообще считаю тяжелым для черных дебютом. Но Полугаевский — подлинный виртуоз в этой сложной борьбе. Пытаясь наказать его за "сомнительные дебютные вкусы" я избрал 1. e2-e4 и, подобно десяткам других гроссмейстеров, сам был наказан.

Очередной чемпионат страны проводился в Тбилиси. В турнире этом я не блистал, но волею судеб мне пришлось принять участие в борьбе за первое место. Турнир проходил под знаком борьбы за лидерство между Талем, который в этот момент приближался к лучшей в своей жизни спортивной форме, и Петросяном. В предпоследнем туре я играл с Талем, в последний же день — с Петросяном. Ажиотаж вокруг турнира был очень велик. Грузины болели за Таля, армяне — за Петросяна.

О национальном антагонизме между народами Кавказа написано немало, поэтому не стоит об этом особо писать. Вражда эта давно приобрела анекдотические формы. Известное "армянское радио" на вопрос: "Что такое дружба народов СССР?" — ответило: "Это когда армяне объединятся и пойдут бить грузин!" Анекдот анекдотом, а в жизни Советской страны национальный вопрос играет далеко не последнюю роль, особенно теперь, когда большинство наций экономически вполне способны существовать самостоятельно.

Итак, накануне нашей встречи с Талем меня посетила группа армян с просьбой сыграть с ним "как следует". Впрочем, можно было меня об этом и не просить. Я довольно тонко чувствовал силу и слабости Таля, знал, как надо готовиться к игре с ним. Черными в сицилианской я довольно быстро получил удобную игру, а к перерыву выиграл пешку. До победы, впрочем, было еще далеко. Но тут вмешалось "заинтересованное лицо" — сам Петросян. Он предложил мне свою помощь в анализе отложенной партии. Мне, неискушенному в закулисных махинациях, такая помощь казалась (и кажется!) не очень порядочной, но в тот момент меня интересовала моя партия и я согласился. Вдвоем мы нашли путь к выигрышу, и на следующий день я расчистил Петросяну путь к победе в турнире.

На этом моя миссия в соревновании не окончилась. Меня стали осаждать грузины, настоятельно требуя, чтобы теперь я обыграл и Петросяна. С ним я играл белыми. Надо сказать, к манере игры Петросяна я не мог приспособиться десятки лет, а выиграть у него "по заказу" вообще вряд ли кто может.

Но попытка была предпринята. Получилась интересная тактическая схватка, однако позиция вскоре разрядилась, и стало ясно, что выиграть не удастся. "Хитрый армянин обманул десятки евреев, — говорили тогда в Тбилиси, — и стал чемпионом".

В марте в Венгрии состоялся матч Ленинград-Будапешт. С шахматной стороны он не представлял для меня особого интереса, я победил Барна со счетом 2,5 : 1,5. Накануне матча возник спор с капитаном команды Бондаревским. Венгры предложили провести встречу в четыре круга. Бондаревский настаивал на двух партиях. Вопрос обсуждался на собрании коллектива. Я говорил, что поскольку мы сильнее, мы должны принять условия своих противников. Позицию Бондаревского тоже было нетрудно понять — это сквозило между строк: поскольку мы п о л и т и ч е с к и сильнее, венгры обязаны принять наши условия! Несмотря на молодость, я пользовался большим авторитетом среди членов команды Ленинграда, и было принято мое предложение. Развитие событий неожиданным образом доказало мою правоту. В первый же день мы были разгромлены! Во второй — мы кое-как смогли отреваншироваться. И только на третий и четвертый — добились перевеса в счете.

Мне и в дальнейшем приходилось вступать в дискуссии, противопоставляя просоветской позиции силы Бондаревского свою, чисто логическую линию, и всякий раз я почему-то оказывался прав...

### **СКАЧОК. ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ УСПЕХ**

Начало года не предвещало серьезных качественных сдвигов в моей игре. 3 матче с венграми я ничего особенного не показал, в командном первенстве СССР, проведенном в рамках "Спартакиады народов", тоже не особенно отличился. Сильнее я провел очередной (и последний в моей жизни) полуфинал первенства страны в Челябинске. Этот турнир я закончил без единого поражения, выиграл ряд отличных партий и был первым вне конкуренции. Игра в полуфинале,

ее качество было бесспорным показателем моей хорошей формы накануне очередного первенства СССР.

Финал проводился в Ленинграде. Бытовые условия у меня тогда были неважные. Мы с женой и маленьким ребенком ютились в двух комнатках коммунальной квартиры, поэтому я попросил дать мне гостиницу, где и провел большую часть турнира.

Я начал его неудачно — проиграл Лутикову и сыграл вничью с Таймановым. А затем начался каскад побед. Игра, как говорится, шла. Я выигрывал любые партии — сложные и простые, худшие и лучшие позиции. Если иногда я просчитывался в комбинациях, то мои противники этого не замечали — так было, например, в партии с Неем. В трудных позициях, упорно защищаясь, я спасался и даже выигрывал, как было с Шамковичем. Кроме того, я выиграл несколько партий, которыми горжусь и по сей день — у Полугаевского, Сахарова, Смылова. Лидерство было за мной, а мои конкуренты — Геллер и Петросян — никак не могли меня догнать. Вдруг — осечка. За четыре тура до конца, играя с Багировым, я взялся не за ту фигуру. Мой противник только что побил ладью. Я думал: "Сперва побью его ладью слоном, а следующий ход сделаю другим слоном". Слоны стояли рядом, и я взялся за того, который "стрелял" в пустоту. Не сделав хода, я вышел из зала, повергнув в горе многочисленных болельщиков, которые с напряженным вниманием следили за моей партией. Ну, чем это объяснить? Может быть, тем, что тот день был нервным, заболел ребенок, и я помогал жене ухаживать за ним. А, может быть, и тем, что, сидя на сцене, я злился, видя, как два приятеля — Геллер и Гуфельд — разыгрывают распisanную дома партию, которую последний бесстыдно сплавлял... Этим можно кое-что объяснить, но не извинить. Впереди были еще поединки с Крогиусом, Геллером, Суэтинным. После полученного мною страшного удара, после бессонной ночи я был настроен агрессивно, как никогда раньше. В отчаянной борьбе, пройдя через рифы проигрыша, я одолел Крогиуса. В этот момент Геллер обходил меня на полочка. Играя с ним черными, я вел партию очень резко. Мой

партнер стоял лучше, но стремился только к ничейной гавани, я же, используя его неуверенную игру, добился победы. Это одна из самых памятных партий в моей жизни. И не случайно я прокомментировал ее для книги Кина "Учитесь у гроссмейстеров". Перед последним туром я был уже впереди на пол-очка. Петросяну предстояло играть белыми с Крогиусом. Геллеру черными с Бронштейном. Вскоре после начала игры я понял, что плохо поставил партию и предложил Суэтину ничью, он же отказался, а потом на моих глазах пошел советоваться с Геллером и Петросяном. Как выяснилось позднее, Петросян велел ему соглашаться на ничью, а Геллер сказал: "Играй, ты его победишь!" В ходе партии, в обоюдном цейтноте, более сильном у меня, фортуна оказалась благосклонной ко мне. Я выиграл пешку, а при доигрывании — и партию, став впервые в жизни чемпионом Советского Союза. Геллер и Петросян, выиграв свои партии, отстали на пол-очка...

С тех пор прошло 14 лет. С гроссмейстером Бронштейном меня всегда связывали хорошие отношения, я пригласил его на неделю на тренировочный сбор для подготовки к матчу с Карповым. Однажды во время дружеской беседы он предался воспоминаниям: "Помните, как в тот февральский день 1960 года я "сплавил" Геллеру? Зачем? Да во время тура я вдруг увидел, как грубо Крогиус проигрывает Петросяну. Оставить же последнего в одиночестве чемпионом страны было выше моих сил. В прекрасной позиции я некорректно пожертвовал фигуру и вскоре сдался". "А я? Таким образом предавали и меня!?" — вскричал я. "У вас было плохо. А Петросяну надо было помешать", — сказал Бронштейн.

После этого диалога, я думаю, читатель, — вы понимаете: стать "по-честному" чемпионом СССР по шахматам — это совершить подвиг! В профессиональном шахматном мире в Союзе высшие места дают колоссальные привилегии, борьбу за них приходится вести не только спортивными средствами. "Игра стоит свеч!" — и Петросян понял это раньше и тоньше, чем кто-либо другой.

Мой спортивный подвиг был оценен по достоинству. Я вышел в первый ряд сильнейших гроссмейстеров страны, передо мной открывались новые шахматные горизонты и, как ни парадоксально, дополнительные метры... Поясню: вскоре после чемпионата, по инициативе спортивных организаций, мне была предоставлена двухкомнатная квартира. Я "выиграл" 7 метров, но каких! До сих пор я жил на двадцати метрах в коммунальной квартире, а теперь их стало 27 и в отдельной. Норма площади при переселении граждан с худшей на лучшую — 9 квадратных метров на человека, так что мои 27 метров были как раз то, что мне было положено. Но переселению подлежат не все семьи, а наиболее нуждающиеся. К ним в Ленинграде относят такие, где на человека приходится менее 4 квадратных метров. И не стань я чемпионом, долго-долго еще не видать бы мне отдельной квартиры,

В мае я играл в международном турнире в Москве. Набрал 8 очков из 11-ти, я занял 3-е место, уступив на пол-очка Смыслову и Холмову, на короткой дистанции я так и не успел разогнаться. Летом меня направили в Буэнос-Айрес, на международный турнир, посвященный 150-летию Аргентинской республики. Среди 16-ти гроссмейстеров лидерство надолго захватил отлично игравший Решевский. На финише он несколько замедлил свой темп, и мне удалось догнать его.

Запомнилась мне тогда и моя первая встреча с Фишером. У него был некоторый позиционный перевес, к тому же и со временем у меня было не все в порядке, но, вероятно, Фишер понимал, что я единственный, кто может догнать Решевского, и не склонен был меня обыгрывать.

Потом несколько гроссмейстеров совершили турне по провинциям страны, сыграв в двух небольших турнирах. В Санта-Фе победил Тайманов, обойдя Сабо, Глигорича и меня. На турнире в Кордове, где осталось двое гроссмейстеров, я опередил Тайманова на пол-очка.

За Аргентиной последовало мое первое выступление на мировой олимпиаде. Играл я за команду СССР на 4-ой доске и добился неплохого результата, не проиграв ни одной партии.

Для этого мне, правда, пришлось совершить маленькое чудо. Мне удалось спасти отложенную в эндшпиле позицию без "чистого" коня против филиппинского шахматиста! Впрочем, в моей практике такие случаи нередки. Например, на турнире ИБМ в 1976 году мне удалось сделать ничью против Фараго тоже без "чистого" коня. И в Упсале в 1956 году против Альстера произошло почти то же самое: я уцелел в эндшпиле без "чистого" слона. Дело, видимо, здесь в оптимизме. Если человек верит в чудеса, он иногда может их творить. И в Тбилиси в 1976 году против Петросяна я оказался без коня!

На этом 1960 год для меня не кончился, произошло еще одно интересное событие. Матчи между Москвой и Ленинградом на 40 досках устраивались тогда примерно раз в два года. В 1958 году я играл с Бронштейном. Белыми и черными мы сыграли французскую партию. С трудом я свел обе встречи вничью. В 1960 году я встречался с "самим" Ботвинником. В те годы он уже редко выступал. За почтенный возраст, за известную самостоятельность суждений шахматисты уже тогда называли его патриархом. Мне удалось победить — 1.5 : 0.5. В то время Ботвинник и Таль готовились к матч-реваншу. Мои достижения в этом году были оценены ими по достоинству. Каждый из них через третьих лиц пригласил меня сотрудничать в подготовке. Я остался верен себе и отказал обоим. Возможно, я был неправ: мне ведь было чему поучиться, особенно у Ботвинника. Некоторые шахматисты, выступая в роли тренеров, искусно обогащали себя знаниями на будущее. У меня, однако, было мнение, что раз я сам собираюсь бороться за первенство мира, нечего мне прикидывать-ся тренером...

## **ВПЕРВЫЕ В ПРЕТЕНДЕНТЫ**

В начале 1961 года состоялся отборочный к первенству мира чемпионат СССР. Прошлый год у меня был довольно напряженным, а отдохнуть я не успел. Такое часто случается с

молодыми шахматистами. Они забывают, что шахматы изнуряют, а чтобы рождались новые, яркие идеи, нужен свежий мозг. Так случилось и со мной. Выиграв на старте несколько партий, я сделал длинную серию ничьих, проиграв по дороге Смыслову и Петросяну. Казалось, шансов на выход никаких. Когда экватор турнира был пройден, ко мне пришло как бы второе дыхание, наступила полоса побед, и я вплотную приблизился к лидирующей группе. Моими конкурентами были Геллер, Спасский, Штейн, Полугаевский. В предпоследнем туре я, как не раз уже бывало, нанес поражение Спасскому, а в последний день выиграл у Полугаевского. Таким образом я занял второе место, всего на пол-очка отстав от победителя турнира Петросяна. Сенсацией турнира был успех молодого Штейна. Впервые играя в чемпионате СССР, он оказался одним из победителей. Шахматист огромного таланта, он сумел продемонстрировать его в самых первых выступлениях, как бы предчувствуя, что его шахматный путь не будет долгим...

Из соревнований 1961 года мне запомнился командный чемпионат Европы в Оберхаузене не только потому, что команда СССР там легко заняла первое место, а я показал абсолютно лучший результат (8,5 из 9-ти), но и потому, что в моем "личном деле" появилось темное пятно. По приезду в Союз заместитель руководителя делегации, человек из КГБ, заявил, что я себя вел неподобающим образом, позволил себе пригласить в кино немку. И хотя в кино мы не пошли, правонарушение состоялось.

Осенью был международный турнир в Будапеште. Венгерские шахматисты в Европе выделяются своим высоким классом. Турнир оказался довольно сильным, тем более, что там играло четверо советских. Старт принес мне 2,5 из 3, а в четвертом туре меня постиг разгром, в разносном стиле я проиграл мастеру Дели. Такое со мной случалось и случается. Бескомпромиссность в борьбе заставляет меня черными ставить дебют на выигрыш, что связано, естественно, с серьезным риском. Черными я достиг неплохих результатов, но иногда приходится познавать и горечь экспериментирования. Момент

в турнире был тяжелый. Сначала я играл с Филипом белыми и добился ничьей. Точнее, в лучшей позиции Филип, будучи по натуре человеком миролюбивым, дал мне пол-очка. Вот, между прочим, какой шахматный талант нужно было иметь, чтобы со столь незлобивым характером достигать таких успехов, как Филип! В следующей партии Бронштейн "подловил" меня на одной из хитрых дебютных схем (при огромной дебютной эрудиции он так же психологически тонко ставит дебют), и мне едва-едва удалось спастись. В напряженной, острой борьбе с Биликом, всегда игравшим со мной с большим задором, все висело на волоске, даже флажок. Страсти улеглись, я вырвал важное очко, а после этого все пошло, как по маслу. В итоге турнира я занял первое место, на 2 очка опередив Бронштейна и Филипа. Тут, в Будапеште, гроссмейстерскую норму выполнил Симагин, интересный шахматист, остроумный и тонкий человек, который, увы, безвременно ушел из жизни. Партию у него я выиграл, причем, довольно убедительно. Любопытно: во время игры он подошел к Тайманову и спросил: "Что он смотрит на меня с такой злостью, будто я перерезал его семью до шестого колена?!" Признаюсь, спортивной злости мне не занимать. В этом из современных шахматистов со мной могут поспорить только Карпов, Петросян и Фишер.

В начале 1962 года в Стокгольме начался межзональный турнир, где впервые молодой Фишер продемонстрировал миру свою огромную шахматную силу. С завидной легкостью он обошел всех и тура за три обеспечил себе первое место. Я играл неплохо, но до последних минут соревнования мне было неясно, добьюсь ли я успеха. Главным моим соперником был Штейн. По положению — в турнир кандидатов могло выйти не больше трех советских шахматистов, хотя мест на выход было значительно больше. Партия с Фишером запомнилась мне надолго. Пожалуй, он тогда еще играл слабее, чем несколько лет спустя. По дебюту он получил преимущество, которое как-то растерял. В небольшом цейтноте я упустил ничейные шансы и проиграл. Проигрыш меня крайне расстроил. На следующий день я предложил Фишеру пари, что

в позиции, где я ошибся, перевес был на моей стороне. Он улыбнулся, спорить не стал. Обстановка к последнему дню накалилась. Я шел вровень со Штейном. В последнем туре мне предстояла черными встреча с Яновским, Штейну же — белыми с Олафсоном. У меня создалось впечатление, что именно Фишер готовил Яновского к партии. Во-первых, он тогда был в приятельских отношениях с канадским шахматистом, а во-вторых, и это, видимо, главное — Фишеру тогда не хотелось, чтобы я был его противником в турнире кандидатов. Моя позиция в той партии была довольно сомнительной, но в остром эндшпиле без пешки мне удалось спастись. Штейн, наоборот, имел грозную позицию против Олафсона, но ошибся и проиграл. В итоге турнира я разделил 4—5 места и вышел в претенденты.

Если бы я знал, как все пойдет дальше, вероятно, я уступил бы Штейну сомнительное удовольствие играть в турнире претендентов на Кюрасао. Там, на далеком острове, как сейчас уже известно, заправлял всем Петросян. Здесь уместно будет сказать, что Петросян — своеобразное явление в шахматах. Этот, не столь благородный человек, ознакомившись с благородной игрой, в совершенстве овладел ею и даже оставил в ней свой след. "Петросяновский стиль" стал притчей во языцех. К неподражаемой манере игры Петросяна десятки лет с презрением и боязнью относятся шахматные мастера. С восшествием Петросяна на чемпионский престол тысячи любителей были вынуждены пересмотреть свои взгляды на понятие привлекательности и благородства шахматной игры. Проиграв ему матч в 1963 году, Ботвинник высказал мысль, что Петросян — редкое исключение в шахматном мире: он не создатель, а разрушитель создаваемых ценностей. Правильно! Осталось добавить, что это касается не только игры. Нельзя не преклоняться перед дьявольской волей и изобретательностью этого человека.

Итак, здесь, на Кюрасао, Петросян договорился с Геллером сыграть вничью все партии между собой. В свою коалицию они уговорили вступить и Кереса. В длинном, двухмесячном турнире, проходившем в тропических условиях, укоротить

дистанцию на восемь туров было очень важно. Это было большим преимуществом перед остальными участниками. Все же мне кажется, что Керес допустил ошибку. В тот момент он играл сильнее всех. Делать ничьи со своими основными конкурентами ему было невыгодно, будь на его месте человек похитрее, он, узнав о сговоре Геллера с Петросяном, должен был бы поискать другой союз... Я не сразу сообразил, что происходит в турнире, точнее, за его кулисами. Посмотрев на десятиходовую ничью из второго круга между Геллером и Петросяном, я спросил у первого, у кого же он собирается выигрывать. "У тебя!" — в лоб ответил Геллер. Я только пожал плечами. В тот момент я уже играл сильнее Геллера, обходил его всюду и проигрывать ему не собирался.

Между тем, усталость медленно, но верно подкрадывалась к простодушным участникам турнира. Все слабее играл Филип, после третьего круга, на почве страшной усталости, заболел и выбыл из турнира Таль. После первого круга я был впереди. Усталость у меня начала сказываться уже во втором круге. В позиции с большим преимуществом я подставил Фишеру фигуру. Двухнедельный отдых в непривычных тропических условиях на острове Сан-Мартин не облегчил положения. В следующем круге я проиграл подряд трем лидерам. Это дало повод Фишеру после окончания турнира заявить в печати, что я был принесен "в жертву" советской делегацией. Право, это несерьезно. Характер мой никак не подходит для роли жертвы, и если бы не проигрыш трех тех партий, то неизвестно, кто бы был победителем.

Решающей в борьбе за первенство между Кересом и Петросяном оказалась встреча... Бенко — Керес из четвертого, последнего круга. Была она отложена в позиции с некоторым перевесом у Бенко. Был организован, при посредничестве жены Петросяна, кропотливый ночной анализ. Бенко выиграл, Петросян стал победителем турнира, обойдя на пол-очка Геллера и Кереса. Жена Петросяна с гордостью рассказывала потом в Москве, как ей удалось вывести своего мужа в чемпионы мира. Предстоял, правда, матч с Ботвинником, но тот

был намного старше претендента. В первой половине матча Петросян измотал Ботвинника ничьими, а во второй — легко реализовал свое превосходство в возрасте.

На Кюрасао нашу делегацию сопровождал человек, не имевший к шахматам никакого отношения, — это был полковник "в штатском", как обычно называют крупных работников КГБ. По приезде он написал докладную, в которой отметил мое неблагоприятное поведение на Кюрасао. На сей раз я провинился, посетив казино. Грехи накапливались в личном деле, оформление выездов за границу стало наталкиваться на трудности.

Очередной чемпионат СССР проводился в конце года. Состав его участников был чуть слабее обычного. Я конкурировал в турнире с Талем, Спасским, Штейном, Таймановым. Всех, кроме последнего, мне удалось обыграть в личных встречах и, хотя концовку турнира я смазал, набрав на финише всего 2 очка из 5-ти, первое место все же удержал.

На чемпионате СССР, в турнире, по силе превосходящем большинство международных соревнований, сумма наградного фонда не предается гласности. В то время было установлено три приза - 300, 200 и 100 рублей. За победу в первенстве СССР 1962 года мне было выписано 225 рублей. Добавлю, что все эти суммы — брутто, с них вычитаются налоги. Справедливости ради нужно отметить, что дело Фишера и его заместника в Советском Союзе Карпова не пропало, и в конце концов Советом Министров СССР был подписан приказ, несколько повышающий ставки. Так, в чемпионате 1975 года первый приз был 400 рублей, и число призов, насколько я знаю, было тоже увеличено.

Лавры чемпиона СССР не облегчили моего выезда за границу: вероятно, кроме официальных органов, мне чинил препятствия кое-кто из могущественных гроссмейстеров. Когда, например, шахматная федерация направила меня вместе с Кересом на турнир в США, в дело вмешался Петросян и после закулисных махинаций сам поехал вместо меня. Потом планировалась моя поездка на Кубу, Судя по всему,

сорвали бы и ее. Но тут мне повезло: в тот момент в Москве обществом "Труд", членом которого я был долгое время, проводился турнир заводов-гигантов. Большая группа старых шахматистов-производственников отправила письмо в Комитет спорта СССР, требуя предоставить мне соревнование за рубежом. Парадокс системы: в стране, где общественное мнение не принимается во внимание, в единичных случаях "голос масс" срабатывает. Меня отправили на Кубу.

Турнир оказался трудным, во второй его половине я проиграл одному из моих конкурентов — Геллеру. Затем, попав в безнадежную позицию против Вейда, я остался без ладьи, и только сильным цейтнотом, в котором я находился, мог как-то оправдать мое сопротивление. Вейд, однако же, в сравнительно простом положении начал мудрить и "зевнул" ферзя за ладью, после чего я с трудом выиграл эндшпиль. Когда эмоции угасли, Вейд сам мне объяснил, что у любого другого выиграл бы эту позицию без труда, но у меня он обязательно хотел выиграть красиво... Летелье тоже дался мне не без труда. Я рассказываю только о запомнившихся трудных моментах, а были и хорошие партии! Временной жертвой ферзя я выиграл у Робача черными, применив необычайную в то время схему развития, заставил сдать Трифуновича. Его известность как непробиваемого ничейного игрока была очень велика, поэтому после турнира я, отправив в югославский шахматный журнал свои комментарии к этой партии, озглавил их "Как победить Трифуновича!" Я набрал 16 очков в 21 партии, за мной остались Геллер, Пахман, Таль. Турнир был изнурительным: непривычный тропический климат, злоупотребление сигарами... Через два месяца я впервые в жизни серьезно заболел — у меня открылась язва, было совсем не до шахмат, а меня, как назло, обязали играть в отборочном первенстве страны. Играл я в турнире не блестяще, но лучше, чем предполагал; все время мне приходилось принимать различные лекарства и транквилизаторы. Я выиграл несколько тонких партий — у Полугаевского, Суэтина. За два тура до конца я имел неплохие шансы попасть в группу победителей соревнования, для чего нужно было набрать всего полтора

очка. Болезнь все же взяла свое — единственный раз в жизни финиш для меня оказался катастрофой: я проиграл обе партии.

Не успел я оправиться от болезни, как вновь пришлось засесть за доску. Начался специальный зональный турнир, отборочный к межзональному. В нем должны были принять участие шесть победителей первенства страны плюс двое персонально приглашенных (за совокупность успехов). Седьмым участником был назван не принимавший участия в предыдущем турнире Смыслов (ради него вся эта система и была задумана), а восьмым федерация назвала меня. За несколько дней до начала турнира случилось неожиданное: Смыслов обратился в федерацию с просьбой направить его непосредственно на межзональный турнир. Федерация, однако, отвергла его притязания. Тогда он мобилизовал своих друзей, имеющих доступ в правительство, и машина заработала. Последовало высочайшее решение, которому безоговорочно подчинился Комитет спорта СССР, а руководителю шахматной федерации (тогда им был Родионов) объявили выговор. Возмущенные до предела участники решили объявить забастовку и не играть. Однако Спасский наложил вето, и при малом числе участников забастовка не состоялась. Молодой Спасский находился тогда под сильным влиянием Бондаревского, который принимал за своего подопечного почти все решения. Вследствие вето заговор распался. А жаль! Зная эту историю, любители шахмат теперь без труда догадаются, как вместо Кузьмина в межзональном турнире 1976 года в Биле оказался Смыслов...

Зональный турнир собрал очень сильный состав, я же чувствовал себя неполноценным участником, слишком живы были в памяти результаты чемпионата СССР. Для успеха в хорошем турнире нужна вера в свою звезду, только она приносит спортивное счастье. Неверие в собственные силы отразилось на моей игре. Сначала грубым зевком я проиграл Холмову, потом меня блестяще разгромил Бронштейн, его примеру последовал и Штейн, а под занавес, когда меня устраивала только победа против Спасского, не помог и пред-

последний тур — я проиграл и ему. В итоге у меня было менее 50% очков, кое-как утешал выигрыш двух партий у Геллера.

Участвуя в крупном турнире в Белграде я разделил 2—3 места с Ивковым, первое же без всякой борьбы занял Спасский. Думается, что 1964-65 годы были лучшими в его спортивной форме. После того, как я увидел игру Спасского в Белграде, меня ничуть не удивила его победа в матчах кандидатов в следующем году...

Очередной чемпионат СССР проходил в Киеве, где обычно я выступал довольно успешно. На этот раз мне удалось превзойти самого себя. Первое место без труда досталось мне, были побеждены основные конкуренты — Бронштейн и Таль. Качество моих 11-ти побед очевидно свидетельствовало о том, что я достиг полосы шахматной зрелости. Мне оставалось только пожалеть, что турнир предыдущего года и последовавший зональный я играл в состоянии депрессии. Позже в своих интервью я не раз вспоминал этот неудачно для меня сложившийся цикл, считая, что моя шахматная зрелость, дополненная отличной спортивной подготовкой, позволила бы мне включиться в борьбу за первенство мира.

За десяток лет, что я был гроссмейстером, мой шахматный стиль претерпел значительные изменения, приобретая новые качественные оттенки. Когда я впервые стал чемпионом СССР в 1960 году, журналист В. Васильев, взяв у меня интервью, написал очерк "Ход слоном", который получил всеобщую известность. Тогда я сказал Васильеву, что в шахматах самое ценное для меня — искусство защиты, вижу в нем своеобразную романтику, как бы борьбу разных начал, а своими успехами я обязан, в первую очередь, мастерству спасать трудные положения.

За долгие годы, проведенные за шахматной доской, я понял, что умения защищаться и только защищаться — для хорошего шахматиста недостаточно. Нельзя всецело зависеть от воли партнера, а нужно стараться навязать ему свою волю, свой ритм и ход мыслей. Я понял, что сковываю, сужаю свои

человеческие и шахматные возможности. Нужно было переучиваться, и в какой-то мере мне это удалось. Свои успехи 60-х годов, свой шахматный рост я объясняю именно тем, что я научился бороться за инициативу, владеть ею. Моя игра стала, бесспорно, многограннее. В 1965 году меня, наряду со Спасским, называли одним из самых разносторонних гроссмейстеров мира.

За три тура до конца я практически обеспечил себе первое место в том чемпионате. В итоге я обошел на 3 или 2 очка, занявшего 2-ое место Бронштейна.

Еще во время чемпионата я получил приглашение сыграть в так называемом "Турнире мира" в Загребе, и в интервью по телевидению подтвердил свое желание принять в нем участие. Руководители шахматной федерации СССР заявили мне, однако, что через 10 дней я должен выехать в Венгрию. Западному человеку легко понять, что в феврале можно сыграть в Венгрии, а в апреле — в Югославии, в Союзе же средний гроссмейстер имеет максимум два международных турнира в год, так что ясно было: поездка в Венгрию автоматически исключала Югославию. А мне хотелось поехать именно туда, ведь там намечался сильный турнир и хорошие призы. Поскольку я был чемпионом страны, решимость моя стоять на своем была беспредельна. Меня пригласили на беседу с заместителем председателя Комитета спорта СССР. Это "собеседование" я запомнил хорошо. Он сказал мне, что сам Янош Кадар просил, чтобы я сыграл в Венгрии. "Вы знаете, — продолжал он, — в 1956 году советские танки пробили брешу в домах Будапешта, вы же призваны как бы закрыть, заткнуть их собою — своим культурным сотрудничеством!" Аргументация была достаточно образной и по-советски убедительной. Но я стоял на своем. Мое поведение обсуждали на заседании шахматной федерации, вынесли выговор и временно закрыли выезд за границу.

Фактически власти добились своего, отправив меня летом того же года на турнир в Венгрию, в Дьюла. Мне удалось поехать вместе с женой; простым смертным такое не дано, а

шахматистам иногда удается. В связи с этим мне вспоминается история, рассказанная М. Растроповичем. Собираясь в длительную гастрольную поездку, Э. Гилельс подал заявление на имя министра культуры Фурцевой: "Поскольку я больной человек и мне необходим уход, прошу послать меня за границу вместе с женой". Растропович, тоже собиравшийся за рубеж, узнав о просьбе Гилельса, направил в ту же инстанцию следующее заявление: "Поскольку я совершенно здоровый человек, прошу направить меня за границу вместе с женой!" Возвращаясь к турниру, — он был не очень сильный, к тому же мне сопутствовало счастье, — я набрал 14,5 из 15-ти очков.

В августе состоялся международный турнир в Ереване. Вообще, международные шахматные встречи в Советском Союзе редкость. Такие маленькие страны, как Югославия или Испания, проводят ежегодно от 6 до 8 международных форумов, а могучей шахматной державе редко удается провести 3 турнира в год. При комплектовании участников соревнования половина, как известно, может быть местной, а другая — должны быть иностранцы. Их заманить в Союз не так-то просто. Играют в СССР сильно, а призы небольшие, выдаются они, как правило, в рублях, которые на другую валюту не обмениваются. А если добавить к этому, что и обслуживание в Советском Союзе из рук вон плохое, то ясно, что ни заработать, ни получить удовольствие иностранный шахматист здесь не может. Не случайно, побывав однажды в Союзе, шахматист вторично на такой международный турнир ехать не хочет. Федерации Болгарии, Чехословакии, Венгрии по требованию советской федерации отправляют в Союз по очереди своих гроссмейстеров на "выполнение трудовой повинности". И все же из-за частой нехватки иностранных участников турниры срываются. Существуют, впрочем, и исключения, ведь действительно, в Союзе можно увидеть хорошую шахматную игру. И есть люди, которые, забывая обо всех неудобствах, приезжают в СССР, как на шахматные курсы. Один из таких чудачков — американский гроссмейстер Р. Бирн. Действительно, если взглянуть на кривую его успехов, видим, что участие в международных турнирах

в Москве помогает ему вернуть себе хорошую спортивную форму.

Но вернемся, однако, к международному турниру в Ереване. После моих побед в чемпионате СССР и особенно в Дьюла меня считали его главным фаворитом, несмотря на участие самого чемпиона мира Петросяна. Предтурнирные прогнозы оправдались. Игралось мне легко, и довольно быстро я оторвался от конкурентов. Чемпион мира играл со мной черными. В это время он уже был далеко не тот, что в 1962—63 годах. Добравшись до престола, он забросил шахматы — решил пополнить образование. Накануне матча с Ботвинником у Петросяна не было даже аттестата зрелости, а в конце 1965 года он уже защищал диссертацию на звание кандидата философских наук! В партии между нами ему легко удалось уравнивать игру, но и только; без особых осложнений она закончилась вничью. Я занял в турнире 1-ое место, опередив на 2 очка Петросяна и Штейна. В этом же году мне довелось еще раз встретиться с Петросяном. Было это в традиционном матче Ленинград — Москва. Обе партии я выиграл.

Для Петросяна эти поражения сыграли положительную роль — он понял, как серьезно ему нужно готовиться к предстоящему матчу со Спасским, мне же победы вскружили голову. Мне казалось, что я уже сильнее всех и могу, и должен с легкостью быть первым всюду. На самом деле это было, конечно, не так, и мне вскоре пришлось в этом убедиться. В очередном чемпионате страны в Таллине меня ожидали сплошные неприятности. Началось с того, что я проиграл Кересу. С ним мне всегда было трудно играть, а эта встреча, проведенная им с юношеским задором, была, пожалуй, лучшей из 4-х выигранных им у меня партий. Со свойственной мне горячностью я начал отыгрываться, но отдельные победы сменялись чувствительными поражениями. В итоге мне так и не удалось выбраться из 50%-ной зоны.

*(Окончание в следующем номере)*

*Воспоминания публикуются с небольшими сокращениями*

## "РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции. сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы 'Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче"

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 8 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.*

### ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЙОХЕВЕД ВАЙНФЕЛЬД

Выставка израильской художницы Йохевед Вайнфельд, проходившая недавно в Иерусалимском музее, может, пожалуй, служить ярким образцом экспериментального феминистского искусства, о котором уже шла речь в нашем журнале.

Йохевед Вайнфельд обращает свой интимный женский опыт, свою женскую биографию в миф. Этот миф — своего рода "Житие Йохевед" — собирает воедино иллюстрации событий, обрывки впечатлений и воспоминаний, спонтанные ассоциации, подсознательные страхи. Искусство художницы черпается непосредственно из потока сознания и подсознания, образуя последовательную, временную цепочку визуальных образов и символов. Судя по всему, "картина" в традиционном понимании одиночно обрамленного листа или холста, для Йохевед лишена всякого смысла. Ее "картина" — это серия рисунков, фотографий, текстов, мелькающих, как кадры киноленты, и объединенных фрагментами авторской биографии.

Йохевед Вайнфельд интерпретирует два органически связанных между собой опыта — женский и еврейский. "Житие" еврейской женщины — это некая садо-мазохистская одиссея, повествующая о скитании, насилии, унижении, ущербности и боли. Отчий дом в Польше, среди берез, белобрысый однокашник, сын командарма, дразнящий пухлую еврейскую девочку с ямочками на щеках, "грязной жиловкой", дом резника, где по старым предписаниям ритуально режут птицу, и, наконец, бегство в Палестину, в тревоге о бедности и войне...

Художница, уже родившаяся после Катастрофы, хранит в своем сознании память травмы, погони, травли и резни. Пропуская свое художественное "я" сквозь многоликую толпу эпизодических героев, Йохевед Вайнфельд визуально передает это "женское" мироощущение в фотографиях и автопортретах. В ритуале переодевания, смене костюмов и грима, в маскараде художница предстает то сыном командарма

в шинели, то деревенской дегенеративной девочкой, подпрыгивающей с палкой между ног, то польской пани — с вульгарной папироской, зажатой меж алых ногтей, то изнасилованной девочкой, валяющейся в крови на камнях, то бритой наголо лагерной жертвой гестапо...

Композиционное построение "цепных" картин Йохевед весьма ортодоксально, ибо оно не свободно, а подчинено логике рассказа. Первый элемент многокадровой "картины" — детская фотография художницы в старой рамочке, символизирующая невинность и очарование детства. Далее следует текст, написанный в стиле свободной дневниковой прозы. Затем серия черно-белых и цветных фотографий. После чего обязательно используются живопись или рисунок в чистом виде — традиционная фигуративная живопись. Следующая ступень — разрушение традиционного живописного приема и обобщение фигуративных элементов в абстрактном видении. После этого, в кадровой последовательности "картины", появляется надпись, но не как литературный текст-комментарий, а как визуальный символ, вывеска, анонс, акцентирующие внимание на идею. Это — краткие сентенции, однозначные повторы, отрывочные невротические бормотаний: "...все евреи... все евреи... все евреи...", или "...и стыд, и стыд... и стыд... и..."

Заключительный "кадр" этой монументальной, эпической картины представляется наиболее интересным и имеющим самостоятельную художественную ценность. Это — конструкция, составленная, собранная, склеенная из неоднородных материалов, среди которых обязательно присутствует "женский" объект: доска с наклеенными женскими волосами, одеяло, заключенное в металлическую сетку, коллаж из деревянных брусков и наволочек, наконец, холст с поперечными деревянными брусками, разрезанный и зашитый, как операционный шов.

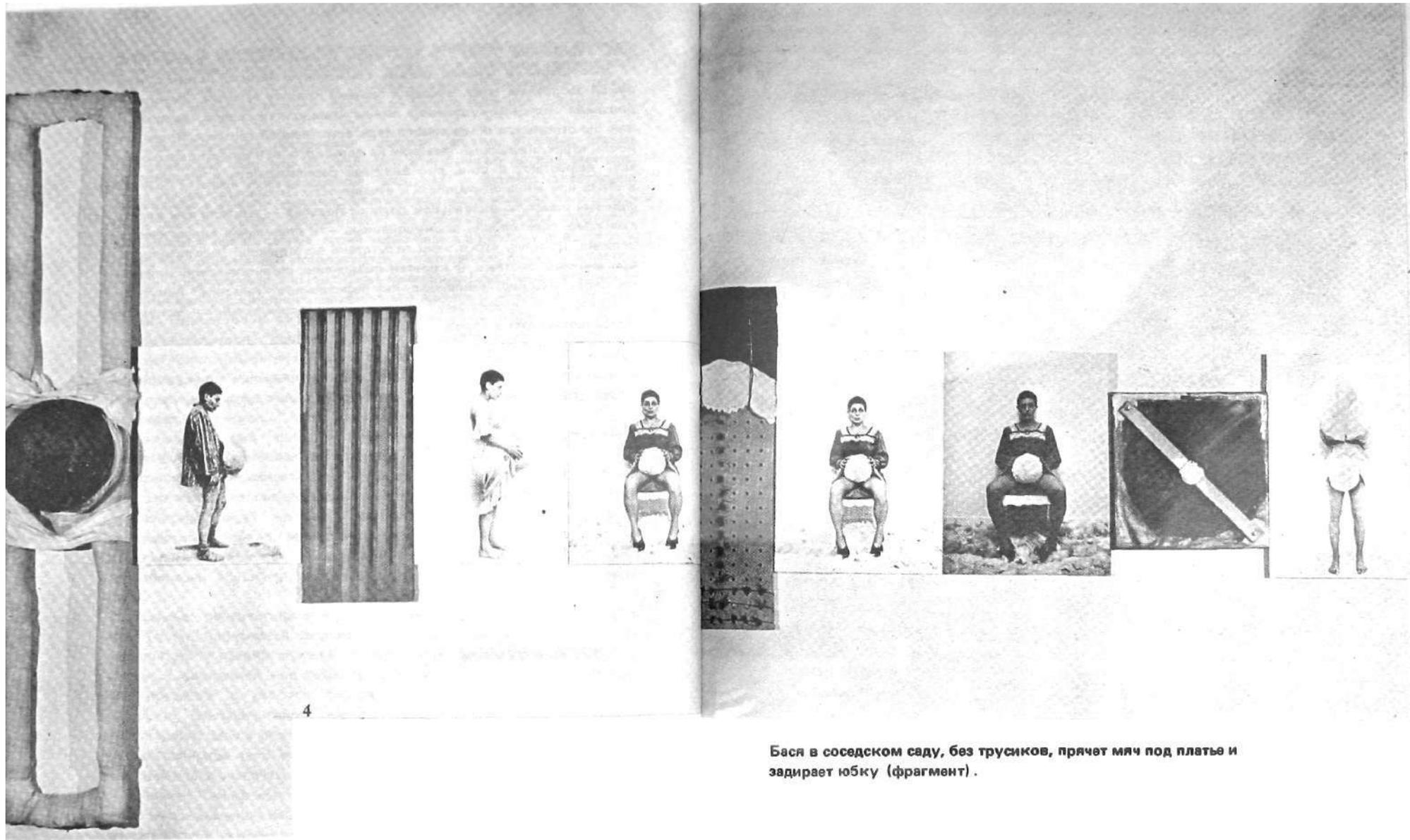
Телесное присутствие автора неизменно доминирует во всех работах. То это корчащееся тело женщины, зажавшей ритуальную птицу между ног, то распластанное на камнях, истекающее кровью, то беспомощно свалившееся под тяжестью деревянного креста. Тело, каким оно предстает в работах Йохевед, нарочито диспропорционально, уродливо, физиологически омерзительно. Это "телесное" искусство представляет собой разительный контраст старой живописи, где обнаженное женское тело виделось как гармонически и бесконечно прекрасный идеал человеческой плоти.

Йохевед Вайнфельд, созидая антиэстетику своим нарциссизмом, эмоциональной невротической остротой, более всего напоминает американских, немецких и австрийских художников "телесного искусства", запечатлевших в документальных фотокадрах солнечные ожоги и агонию оскопления. Однако, нет в искусстве Вайнфельд того экстремистского безумия, крайности, оголтелости, к которой стреми-

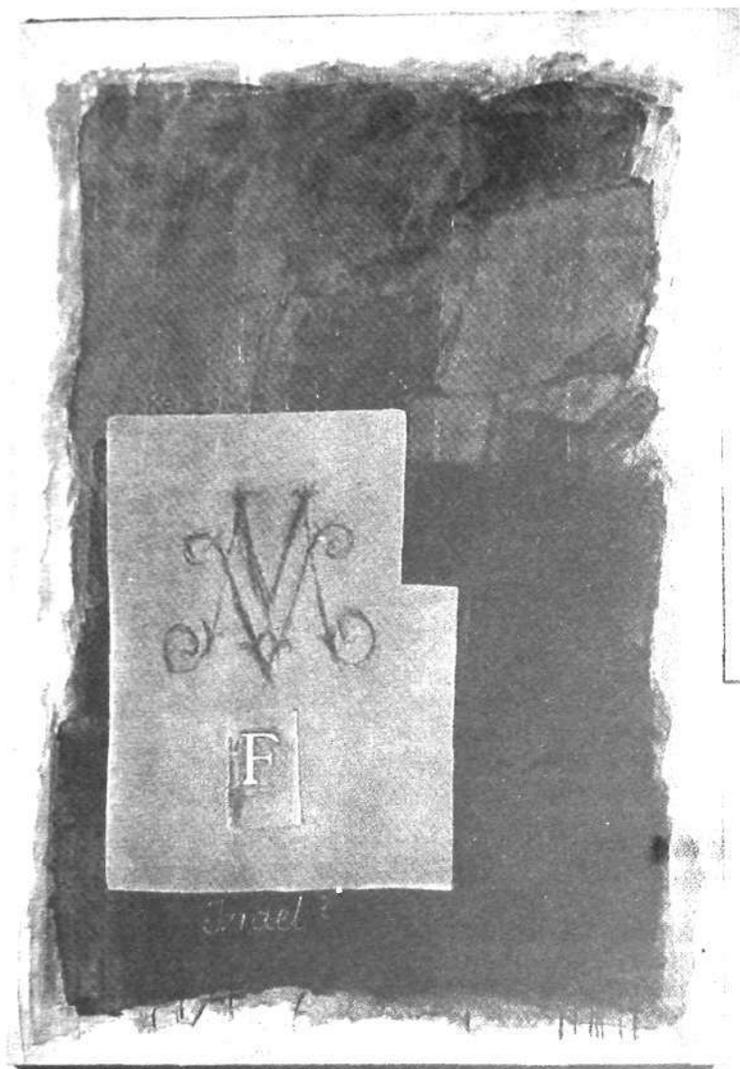
лись художники "тела", в том числе и американские феминистки.

Джорджоне и Тициан писали обнаженную Венеру, касающуюся рукой запретных мест, находя в эротике красоту естества. Эмансипированная женщина-художница конца семидесятых годов, напротив, как бы стесняется обнаженного тела, естественной эротике. Подавленность, страх, несвобода (атавизм не польского ли подросткового опыта?) вырастают в стыд при видимой раскованности и бесстыдстве, в страх при мнимой смелости и отчаянности. Знаменательно, что центральные символы визуальной поэтики Йохевед — это тело или холст, стянутые, сдавленные, зашнурованные — и стерильная хирургическая белизна. Похоже, что в этом отсутствии естественной раскованности, при мнимом эпатаже и кроется объяснение стилистической эклектики работ Йохевед Вайнфельд, чье болезненное "телесное" искусство соответствует духовному кризису экспериментального искусства конца семидесятых годов.

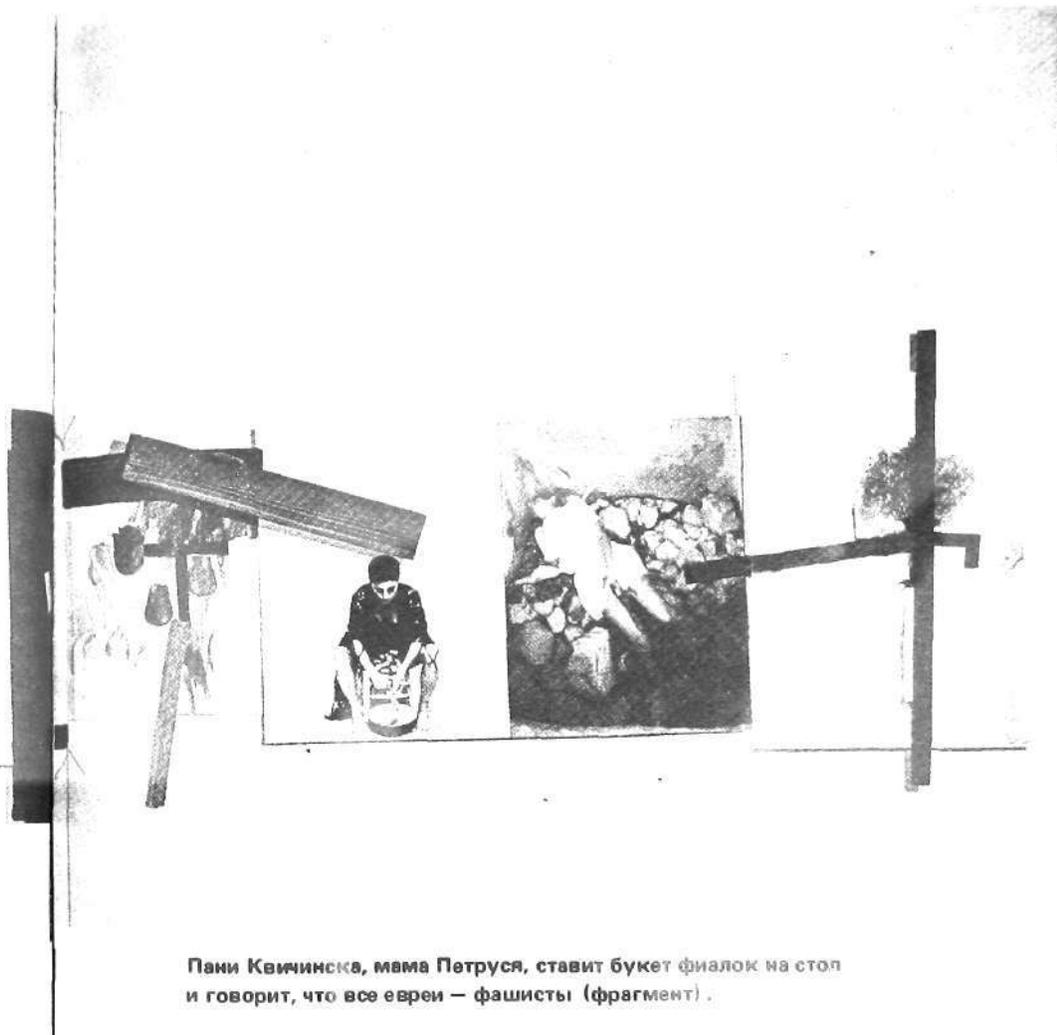
*Наталья ГРОСС*



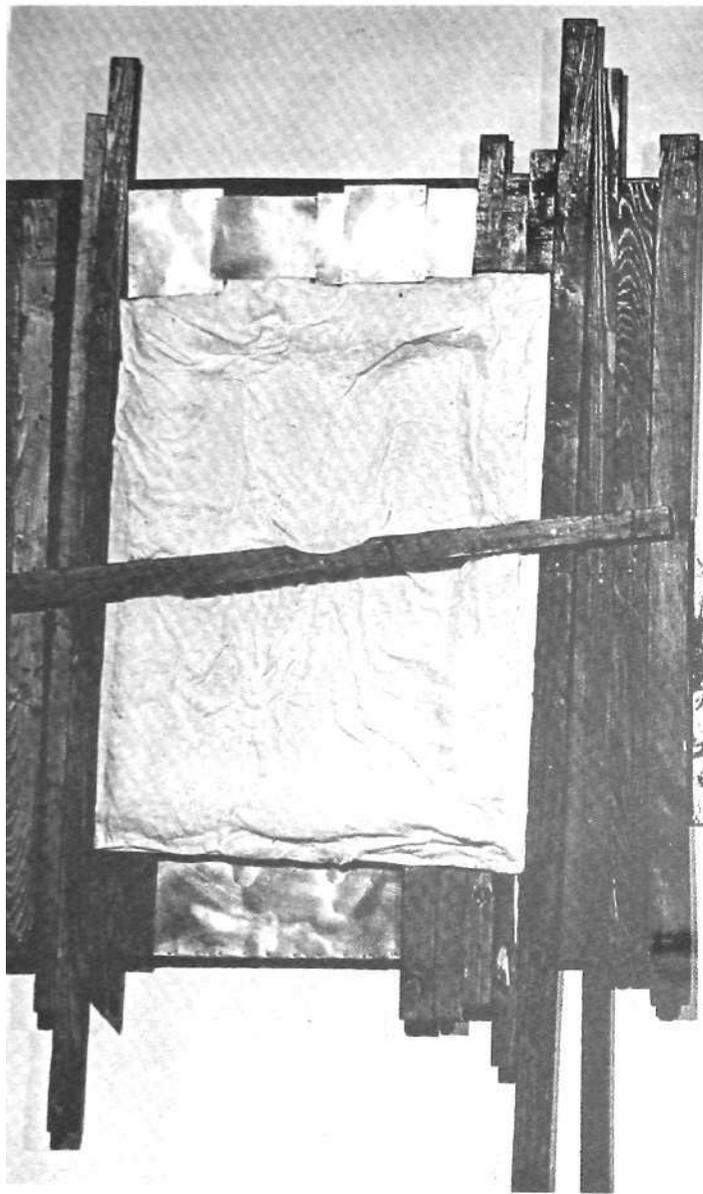
Бася в соседском саду, без трусиков, прячет мяч под платье и задирает юбку (фрагмент).



5



Пани Квиниска, мама Петруся, ставит букет фиалок на стол и говорит, что все евреи — фашисты (фрагмент).



8



В концлагере, где все евреи были голодны и грязны, встречались также красивые женщины, которых любили немцы (фрагмент).

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Александр Н. Биографические данные неизвестны.

Александр ТУЧКОВ. По образованию художник. Окончил институт в Ленинграде. Несколько лет назад эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Живет в Нью-Йорке, работает ночным сторожем.

Юлия ТРОЛЛЬ. Родилась в Москве, в актерской семье Михаила Куни. Училась в театральной студии при театре им. Маяковского. Окончила училище циркового и эстрадного искусства. Работала в Москонцерте, в театре им. Маяковского. В 1976 году эмигрировала в США.

Михаил ГЕНДЕЛЕВ. Поэт. Родился в Ленинграде в 1950 году. Получил медицинское образование. В Израиле с 1977 года. В СССР не печатался. Книга "Въезд в Иерусалим", написанная в России (1972—76 годы) выходит в свет в Израиле в 1979 году. Отрывки из этой книги публиковались в журналах "Сион" и "22".

Владимир НАУМОВ. Поэт, переводчик. Родился в Москве в 1950 году. Стихи выходили в Самиздате. С 1972 года живет в Париже, преподает русский язык в лицее.

Мотл ГРУБИЯН. Известный еврейский поэт. Родился в 1909 году на Украине. Окончил педагогический институт в Минске. Участвовал во Второй мировой войне, где был тяжело ранен. Был видным деятелем Еврейского Антифашистского Комитета. В 1949 году был арестован и осужден на 25 лет. Мотлу Грубияну принадлежат многие замечательные произведения, написанные на идиш. Умер поэт в 1972 году.

Игорь ЕФИМОВ-МОСКОВИТ. Родился в 1937 году в Москве. В 1960 году окончил Политехнический институт в Ленинграде. С 1965 по 1978 годы — член Ленинградского отделения Союза писателей. Выпустил около десяти прозаических книг. Среди них: "Таврический сад", "Лаборантка", "Свергнуть всякое иго". С 1971 года в Самиздате начинает ходить его философский труд "Практическая метафизика" (под псевдонимом Андрей Московит). Отрывки из него напечатаны в журнале "Грани" № 87—88, 1973 год. Другая работа историко-философского направления — "Метаполитика" — под тем же псевдонимом появляется в Самиздате в 1974 году, а в 1978 выходит отдельной книгой в американском издательстве Strathcona Publ. Co. В настоящее время живет в США, готовит к печати книгу о советской хозяйственно-экономической машине.

Звулун ХАМЕР. Министр просвещения и культуры Израиля. Родился в 1936 году в Хайфе. Окончил отделение иудаистики, литературы и воспитания Бар-Иланского университета. Возглавлял молодежный отдел партии МАФДАЛ. Участвовал в Шестидневной войне. Член Кнессета 7, 8 и 9 созывов.

Михаил ХАРСГОР. Профессор истории Тель-Авивского университета. Родился в Бухаресте в 1924 году. В 1960 году получил степень доктора истории в Сорбонне. Научную работу в Тель-Авивском университете сочетает с журналистской деятельностью. Харсгору принадлежат книги "Введение в эпоху Ренессанса", "Рождение новой Португалии" и другие.

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ. См. журнал № 41.

*Вышла в свет брошюра нашего представителя в Англии, д-ра А.Ю. ШТРОМАСА "Кто такие советские диссиденты?". Брошюра издана на английском языке в Англии Бредфордским университетом, где автор является почетным членом кафедры мира.*

Цена — 60 пенсов (0.60 англ. фунта).

Оплаченные заказы направлять:

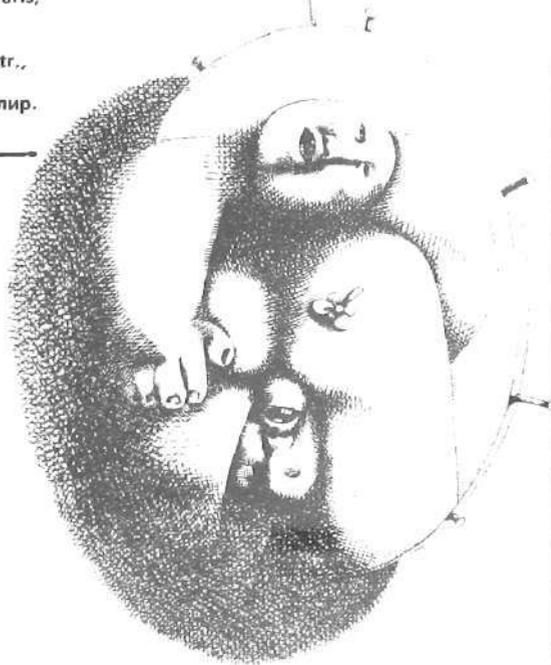
Dr. Peter van den Dungen, School of Peace Studies,  
University of Bradford, Bradford, W-Yorks., B07 1DP.  
England.

# ВЛАДИМИР МАРАМЗИН

## СЖЕШНОС

Повести и рассказы Изд.  
"Третья волна", Париж, 1979.  
Цена — 33 франка. Адрес во  
Франции: V. Maramzin, 302,  
rue des Pyrenees, 75020 Paris,  
tel. 366-80-31.

Представитель в Израиле:  
Ирина Гробман, 28 Efraim str.,  
Jerusalem, tel. (02) 712493.  
Цена для Израиля — 168 лир.  
Пересылка — 10 лир.



## ЧМ ПРЕКАС

"ВРЕМЯ И МЫ - 1979 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

**Сроком на 6 месяцев**  
**на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера .....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись ..... Дата .....

\* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" —  
можно по русски — и высылается по адресу:  
P.O.B. 24123, Tel Aviv ИЛИ 62/9 Nachmam st., Tel-Aviv .

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**  
Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**  
Журнал вУсылать с номера .....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата .....

\* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" —  
можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123,**  
**Tel-Aviv, Israel** или 62/9 Nachmam St., **Tel-Aviv**



Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

**Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.**

**Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.**

**Тел. (03) 72-58-40.**

**26 Shenkin St., Givataim.**

**Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П.Я. 24123, Тель-Авив.**

**Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.**

Художник Лев Ларский

Корректор и литературный редактор Ася Левина

Технический редактор Наталья Рубина

OCR и вычитка - Давид Титиевский, май 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки: Скульптура Эрнста Неизвестного**

